НОВАЯ ПОЛЬША

№7-8(77) 2006

Дмитрий Тренин о польско-российских отношениях

КТО И КАК СПАСАЛ В ПОЛЬШЕ КНИГИ

Рассказ Антония Либеры

Воспоминания Юлии Хартвиг

ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Ефимов о польской поэзии

Интервью с создателем фильмов по Сенкевичу

БЕСЕДА С ЕЖИ ЯРОЦКИМ

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

Приглашаем всех читателей посетить интернет-сайт «Новой Польши»:
www.novpol.ru

PKO BANK POLSKI
ПОЛЬСКИЙ БАНК «ПКО»
главный спонсор
деятельности Национальной Библиотеки в 2006 году

НОВАЯ ПОЛЬША

№ 7-8(77)
2006
июль-август

ISSN 1508-5589

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ПРИОРИТЕТ РОССИИ — САМА РОССИЯ 3
Беседа с Дмитрием Трениным

Здислав Романовский 6
ИНЫЕ ВРЕМЕНА, ИНЫЕ ГОЛОСА

Виктор Кулерский 10
ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Мария Витт 17
ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ БИБЛИОТЕК XVIII ВЕКА

Богдан Коженевский 26
КНИГИ И ЛЮДИ

Петр Матывецкий 32
СТАРЫЙ ДОМ

Ежи Гужанский 37
НА ТЕМУ КОНЯ КАЛИГУЛЫ

Антоний Либера 39
ОТЪЕЗД ПАНА АРНОЛЬДА

Лешек Волосюк 44
ЛИПНЕНСКАЯ «БОГОРОДИЦА»

НАШИ ЛЮДИ

ФОРМУЛА «МОТОРЧИКА» 48
Проф. Ян Мадей о прелестях математики

ЭТО ВСЁ НЕ СЕГОДНЯ СЛУЧИЛОСЬ 52
Беседа с Кшиштофом Геральтовским

НАД-ВРЕМЕНЕМ-И-МЕСТОМ 65
Беседа с Юлией Хартвиг

Юлия Хартвиг 68
НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Магдалена Байер 70
ВИТОЛЬД ОРЛОВСКИЙ

ИЗ-ПОД СПУДА

Антоний Марыльский 74
СТРАНИЦА МОЛОДОСТИ

Зофья Моравская 76
ОБ АНТОНИИ МАРЫЛЬСКОМ

Мариуш Сельский 78
ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ КАК ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Гульжаухар Кокебаева 86
КАТЫНСКОЕ ДЕЛО

Войцех Станиславский 91
ЖИЗНЬ НА ОБОЧИНЕ

Мартин Баран 97
МИР, СЛОВА, СНЫ

Адам Видеман 100
СТИХОТВОРЕНИЯ

Евгений Ефимов 105
О ТАШКЕНТСКОМ СБОРНИКЕ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

Филип Байон 107
ВОЛГА, ВОЛГА

Я НЕ БЕРУ НА СЕБЯ РОЛЬ ПРОРОКА... 114
Беседа с Ежи Гофманом

Лешек Шаруга 115
ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Янина Куманецкая 118
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Иоанна Арашкевич 121
НОВОСТИ ПОЛЬСКОЙ ДИСКОГРАФИИ

ПРОБИТЬСЯ К ПРАВДЕ — ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ РЕАЛИЗМА 124
Беседа с режиссером Ежи Яроцким

Редакционный совет
Стефан Братковский
Хенрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Цёсек

Ежи Помяновский
(главный редактор)

Редколлегия
Элиза Вольская
Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер ***(зам. гл. редактора)***
Кристина Пашек ***(секретариат)***
Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих
(зам. гл. редактора, секретарь редакции)
Лешек Шаруга
Дмитрий Шевионков-Кисмелов
(главный художник)

Графика и макет
Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Техническая редакция
Кацпер Ванчик

Адрес редакции
Al.Niepodległości, 213
02-086 Warszawa
Ал. Неподлеглости, 213
02-086 Варшава
тел: **(0-22) 608 27 95; 608 25 65**
факс: **(0-22) 608 25 05; 608 27 96**
e-mail: **nowpol@bn.org.pl**
Информация о журнале для стран СНГ:
Издательство МИК, Москва,
ул. Большая Переяславская,
д.15, кв.49
тел: **621-41-42**
e-mail: **mic@inbox.ru**

Журнал издается под патронажем Национальной Библиотеки по поручению Министра Культуры и Национального Наследия Республики Польша
Тираж 4800 экз.

Переводчики: М. Афанасьев, А. Базилевский, А. Бондарев, Н. Горбаневская, Т. Дзядко, Н. Кузнецов, М. Курганская, А. Миркес-Радзивон, А. Ройтман, Е. Шиманская

Фото ©: Agencja Gazeta (стр. 65, 68, 107, 114, 124), (стр.), Archiwum (стр. 70, 74), Archiwum A. Dabrowskiego (стр. 91), M. Czechowicz (стр. 77), T. Melanowski (стр. 97), A. Otrebski (стр. 44, 45), PAP (стр. 52), Reporter - Agencja Fotograficzna (стр. 48), A. Zegier (стр. 25)

ПРИОРИТЕТ РОССИИ — САМА РОССИЯ

Беседа с Дмитрием Трениным

Москва поняла, что имперская идея отжила свой век, и нашла замену великой ядерной державе — великую энергетическую державу. Россия видит в Польше страну, которая не только присоединилась к основным институтам Запада, но и стала вести активную восточную политику, где ее интересы сталкиваются с интересами России. Так сказал в беседе с корреспондентом радио «Полония» заместитель директора Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

— Состояние российско-польских отношений, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В последние месяцы Москва предприняла в отношении Польши целый ряд односторонних недружественных шагов. Польша стала едва ли не главным врагом России. Чем это можно объяснить?

— Не думаю, чтобы Польша стала врагом, а уж тем более главным врагом России. Но атмосфера отношений недружественная — это очевидно. Мне кажется, что сейчас Россия исходит из очень жесткой концепции международных отношений. Российское руководство считает, что конкуренция — определяющий фактор в отношениях между государствами. Сотрудничество существует, но упор все-таки делается на конкуренцию. Глядя на Польшу, Россия видит страну, которая не только присоединилась к основным институтам Запада, но и стала вести активную восточную политику, где ее интересы сталкиваются с интересами России. Сначала была «оранжевая революция» на Украине, в этом году — президентские выборы в Белоруссии. В Москве видят, что внутри Евросоюза и НАТО (особенно Евросоюза) Польша вместе со странами Прибалтики занимает самую скептическую позицию в отношении России. Российское руководство считает, что в таких условиях единственная правильная политика в отношении Польши — это политика достаточно жесткая, которая заставит руководство Польши если не полюбить Россию, то по крайней мере относиться к ней с должным уважением.

— Какова, на ваш взгляд, причина ухудшения российско-польских отношений?

— Российско-польские отношения имеют очень давнюю, богатую историю, в которой было всякое. Но это отношения соседних и в общем-то неплохо знающих друг друга народов и государств. Меня всегда восхищало, как хорошо польская элита разговаривает по-русски. Практически вся польская интеллигенция, правящая элита, экономическая элита — все прекрасно говорят по-русски, гораздо лучше, чем где бы то ни было в мире. В то же время отношения России и Польши — в отличие, скажем, от отношений России и Германии — на протяжении последних 200 лет были отношениями неравными. В отношениях с Германией очень большое значение имеет то, что россияне, Советский Союз — как бы мы не называли эту общность — победили нацизм в 1945 году. Что советские войска пришли в Германию и оставались там на протяжении 49 лет, до 1994 года. Это очень важно, так как в известной степени это содействовало определенному внутреннему удовлетворению россиян. Российско-польские отношения асимметричны и будут оставаться такими в течение долгого времени. Во многом они будут основаны на понимании этого факта. Здесь, на мой взгляд, очень много психологии, очень много политики.

— Несмотря на кризис или застой в официальных, политических отношениях, у нас все-таки, как мне кажется, есть шанс поддерживать партнерские взаимоотношения в области культуры, бизнеса, то есть на уровне межчеловеческих контактов...

— Вы очень правильно обозначили большую область отношений, где существуют хорошие перспективы. Отношение поляков к России — вы меня поправьте, если я ошибаюсь, — характеризуется дихотомией: одно отношение к русским как людям, к русской культуре, и другое — к русскому государству, как бы оно ни называлось: Советским Союзом,

Российской империей или Российской Федерацией. Это разные отношения. Я бы сказал, что здесь есть определенная параллель, если рассматривать отношение к своему государству российской интеллигенции, которая постоянно оппонировала власти изнутри. И сейчас наиболее перспективна область негосударственных отношений. Это прежде всего отношения в сфере бизнеса — между польскими бизнесменами и их коллегами в России. Другой сферой я бы назвал отношения между польским и российским гражданским обществом, сотрудничество в области культуры, литературы. Здесь традиционно существовала очень тесная связь. Причем в данном случае поляки и русские абсолютно симметричны по отношению друг к другу. Здесь нет речи о великой державе России и подвергавшейся разделам Польше. В России всегда очень внимательно следили и продолжают следить за тем, что происходит в Польше, и всегда рассматривали это как важнейший внешний импульс для собственных размышлений, для собственного творчества. Еще очень важная область, на мой взгляд, — контакты между молодыми поляками и молодыми россиянами. Я думаю, что сейчас, когда Польша стала интегральной частью объединенного Запада, важно, чтобы восточное измерение, которое всегда будет присутствовать в польской политике, основывалось на хорошем понимании соседей. И не только украинцев, но и россиян. Для россиян, в свою очередь, очень важно понять, что Европа начинается не на Эльбе, а гораздо ближе, что нынешняя Польша, врастая в Европу, быстро трансформируется, модернизируется. В России традиционно многое воспринималось через Польшу. Я не хочу сказать, что это модель, которая должна существовать. Отнюдь. В глобализированном мире нет нужды в посредниках. Но очень важно, что для россиян опыт поляков имеет особое значение. Это опыт во многом родственного народа.

Два друга: нефть и газ

— Каковы, на ваш взгляд, приоритеты нынешней российской внешней политики?

— Главный приоритет российской внешней политики — сама Россия. Она не стремится к тому, чтобы вновь стать империей в традиционном или нетрадиционном смысле слова. Она не стремится к институциональной интеграции в те структуры, в которые, скажем, вступила Польша. На сегодняшний день российская правящая элита и конкретно президент Путин исходят из концепции России как самодостаточной великой державы, которую нужно будет выстроить в XXI веке. Поэтому приоритет — это сама Россия. Она видит мир как очень конкурентную среду, исходя из известного выражения, что слабых бьют, а значит, нужно быть сильным, чтобы с вами считались. Поэтому Россия отходит от прежней политики, которая отчасти основывалась, скажем, на каких-то остаточных надеждах, иллюзиях, в том числе и в отношениях с соседними странами. В отношениях со странами бывшего Советского Союза Москва отходит от остаточной политики имперских преференций, которые ей мало что давали. Она становится более прагматичной, гораздо более экономически озабоченной и рассматривает себя как довольно большую свободную величину, которая выстраивает самостоятельные отношения со всеми основными силовыми центрами.

— В одном из своих интервью вы сказали, что у России в настоящее время только два друга: нефть и газ. Как следует это понимать?

— На самом деле я попытался пошутить, перефразируя известное высказывание императора Александра III о том, что у России есть лишь два союзника — российская армия и российский флот. Действительно, нынешнее российское руководство исходит из того, что больших, вечных и надежных друзей у России нет. И в принципе быть не может. Что касается нефти и газа, то Россия очень тяжело переживает утрату статуса великой державы. На что, собственно говоря, это остаточное великодержавие должно опираться? Россия — это важный момент — может опереться лишь на то, что есть в России. Она не может сказать, что мы часть Европы и опираемся на коллективный европейский фундамент. Польша и другие центральноевропейские страны могли это сделать. Германия в конце концов нашла в себе силы, чтобы после всего случившегося в XX веке, сказать: мы — Европа и неотделимы от Европы. Россия этого сказать не может. У нее нет внешней опоры. Нельзя встроить Россию во что-то, что было бы больше нее и гармонично с ней сочеталось. Поэтому остается опираться на то, что есть внутри. Москва поняла, что имперская идея совершенно архаична, отжила свой век. В этих условиях подъем мировых цен на нефть и газ создает для России такую «подушку», на которую она может опереться. Да, мы сегодня крупнейшая, если хотите, энергетическая держава — говорят российские руководители. Без нас энергетическая безопас-

ность в мире в принципе не может быть обеспечена. И в этом смысле, да, российские руководители (это очень важно в психологическом плане) нашли замену великой ядерной державе — великую энергетическую державу. При этом остается «великая» и «держава». Альфа остается и омега. То, что нефть и газ — друзья России, это не только политический, но еще и политико-психологический фактор.

Россия уходит от свободы

— Какие изменения произошли в российском обществе за последние 14 лет? Появился ли средний класс как залог развитого гражданского общества?

— Я думаю, что главным изменением стало появление денег. Это означает, что в России продолжает развиваться капитализм. Это специфический капитализм. У него есть много различных сторон, в том числе и крайне негативных, но он реален и постепенно создает средний класс. На мой взгляд, люди, которые ощущают себя средним классом и ведут себя в соответствии с нормами европейского среднего класса, составляют приблизительно седьмую часть населения, что примерно соответствует электорату демократических, либеральных партий. Так что Россия еще довольно далека от ситуации, когда средний класс станет основой общества и когда мы сможем всерьез говорить о демократии. Я, в отличие от моих коллег, не считаю, что Россия уходит от демократии. Она скорее всего уходит от свободы.

— И в политическом плане?

— Прежде всего в политическом плане. В других областях свободы гораздо больше. Я бы сказал, что в политической сфере свобода в России практически отсутствует. На мой взгляд, о демократии в России можно будет говорить всерьез лет через 20-25. Вряд ли раньше.

— А может быть, это произойдет только тогда, когда в России появится, как вы недавно сказали, «политической народ», то есть критическая общественная масса, которая, например, на Украине, положила начало демократическим преобразованиям — «оранжевой революции»? Что вообще следует понимать под понятием «политический народ»?

— Я бы сказал, что это люди, которые ощущают себя источником власти в стране. Вот Россия, как ни странно, — это страна, где существует власть, но где практически нет государства как института, основанного на определенных принципах, законах. Этого нет. Есть какой-то атомизированный народ. На Украине произошла консолидация по крайней мере половины населения вокруг каких-то общих ценностей, консолидация на основе общего дела, общего действия. Такие страны, как государства Центральной Европы, включая Польшу, имели возможность колоссально ускорить и обеспечить свою модернизацию и трансформацию обществ, благодаря возможности институционально вступить в евроатлантические структуры. В России этого нет и в принципе быть не может. В России аналог идеи Европы — великая держава. То есть тут консолидация возможна на какой-то державной основе.

— Вы неоднократно посещали Польшу. В последний раз, еще в 2004 г., вы были гостем Экономического форума в Кринице. Что для вас лично значит Польша?

— Польша — это страна, с которой я познакомился в детстве. Здесь у меня был и остается близкий друг. Особенно в детские годы мы какое-то время были самыми близкими друг другу людьми. Он поляк и прекрасный, как мне представляется, человек.

— Вы могли бы сказать, кто это?

— Я не хотел бы называть его, потому что это известный человек. Он меня многому научил в том, что касается польской истории и польской литературы, польского национального характера. Так что еще в детстве я проникся большим уважением к Польше. Наверное, это сохраняется до сих пор. Польша дает двоякий эффект: с одной стороны, это очень близкий народ и очень тесно переплетенная история, а с другой — это народ, который исповедует другую систему ценностей. Это другая религия, другой подход к организации общества, другой подход к личности. Очень много общего и очень много кардинальных различий. Такого эффекта я больше нигде не встречал, ни в одной другой стране. Есть страны, которые, наверное, ближе России (скажем, в юго-восточной Европе), и есть страны, которые от нее значительно дальше. Польша дает удивительную комбинацию, где, на мой взгляд, столько же общего, сколько и различий. И то и другое контрастно. А эффект получается фантастический.

Вел беседу ***Анджей Сежповский***

Здислав Романовский

ИНЫЕ ВРЕМЕНА, ИНЫЕ ГОЛОСА

Об одном популярном журнале без ностальгии

Начну с того, что представлюсь: я много лет проработал редактором ежемесячного журнала «Польша». И еще одно: когда я впервые стал редактором этого журнала, у меня состоялось несколько интересных разговоров с Юрием Нагибиным. Он в то время находился в Варшаве на так называемой литературной стипендии. И, в соответствии со своим темпераментом и писательским инстинктом, он знакомился со столицей Польши и с нами, поляками, не посредством официальных контактов: он вел себя так, будто был одним из варшавян, гулял — говоря его словами — как кошка, сам по себе. Стоял в очередях за ежедневными покупками, встревал в разговоры у пивного ларька. Обязательные встречи с Ежи Путраментом и другими чинами Союза польских писателей значили для него, пожалуй, меньше, чем встречи с соседями с аллеи Неподлеглости, где он поселился.

«Наша дружба, — сказал он мне однажды, — может стать реальностью не потому, что поляки и русские друг на друга похожи, так как и те и другие — славяне. Матрицы нашей истории были разными. Нам надо просто как следует друг друга узнать и понять. А мы знаем друг о друге очень мало».

Я уговаривал его написать что-нибудь для нашего журнала, ссылаясь на то, каким плодотворным оказалось пребывание в Польше Иосифа Юзовского, на его записки. Будущий автор повести «Встань и иди» никак не соглашался:

— Тогда было другое время. Тогда и в нашей, и в вашей жизни было больше кислорода.

Но все же он написал, а потом объяснил мне, в чем, в частности, заключается различие матриц истории. Объяснил на примере отрывка из его очерка «Варшавский дневник», опубликованного в 1974 году в журнале «Польша». Вот этот невинный — как мне казалось, пока автор не объяснил, — отрывок:

«Высоко и гордо поднимаются стены кафедрального собора святого Яна, взорванного гитлеровцами. Собор давно восстановлен, как и все Старое Място, в своем первозданном облике. В кирпичную его стену по Дзеканей улице вмурован обрывок танковой гусеницы. Медная доска скупо повествует о преступлении гитлеровцев, направивших «голиаф» на дом католического Бога».

— У нас в Москве, — сказал Юрий Маркович, — любой, прочитав это, тут же вспомнит о судьбе храма Христа Спасителя. А от такой ассоциации недалеко и до других.

А я, раз уж мы заговорили о языке намеков, думал о другом. О том, что словами русского или, как тогда говорили, советского писателя мы можем осторожно, полунамеком напомнить, что Польша — страна католическая. Читатели журнала «Польша» могли узнать о нашей стране много самого разного и интересного, особенно для молодежи, как, скажем, о популярности автостопа или джаза. Помещенный в журнале репортаж с очередного Jazz Jamboree давал безусловную гарантию того, что данный номер станет особенно востребованным. Но если бы информация о Польше ограничивалась только тем, что можно было прочитать в выходившем на русском языке журнале, то его читатели понятия бы не имели, что в нашей стране существуют частная собственность на землю и единоличные сельские хозяйства и что преобладающая часть населения Польши по своему вероисповеданию — католики, а Церковь представляет собой суверенную силу.

Журнал «Польша» выходил 36 лет, до 1990-го; в определенный период тираж достигал почти четверти миллиона экземпляров, а то, что в год к нам поступало около ста тысяч писем и ответов на разные редакционные конкурсы, мы считали нормой. Популярность иллюстрированного журнала лишь в некоторой степени была заслугой журналистского коллектива, состоявшего, в частности, из выпускников русистики. Работал феномен Польши как страны, где снимают свои фильмы Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси и Ежи Гоффман, создают музыкальные произведения Витольд Лютославский и Кшиштоф Пендерецкий, пишут свои картины такие художники, как Ежи Новосельский и Анджей Струмилло. В письмах читателей постоянно звучали просьбы сообщать о новых произведениях Станислава Лема. Что касается актерского творчества, то Барбара Брыльская, Беата Тышкевич, Даниэль Ольбрыхский и Ольгерд Лукашевич были популярны в СССР не менее, чем среди польских зрителей.

Читатели журнала «Польша», который, несмотря на большой тираж, было трудно достать, наскоро пролистывали первые страницы, на которых металлург Брежнев обнимался или смачно целовался с шахтером Гереком, что служило символом дружбы между СССР и ПНР; пропускали скучные комментарии насчет постоянного углубления этой дружбы и старались найти более интересную информацию о Польше.

Нагибин находился в Польше в первой половине 1974 года. Это было уже то время, когда часть интеллигенции, поверившая, что и при существующем строе возможны демократические реформы, утратила свои иллюзии. Тем не менее в тот год мы смогли представить своим читателям лауреатов Государственной премии I степени — в частности, Мариана Брандыса, Конрада Свинарского, Марию Кунцевич, Анджея Кусьневича, Юлиуша Стажинского. Значение творческих достижений каждого из этих лауреатов не вызывает сомнений и сегодня.

Я не знаю, какое мнение о журнале «Польша» того период-а записывали в своих дневниках советские оппозиционеры, и замечали ли они его вообще; но если да, то надеюсь, что их мнение отличалось от того, что записал 2 мая 1974 г. Стефан Киселевский по поводу издававшегося на польском языке — как бы в ответ на наше издание — ежемесячного журнала «Край Рад» («Страна Советов»).

«Кошмарное впечатление производит также пропагандистский журнал «Край Рад», который лежит во всех парикмахерских. Как подумаешь, что они считают пропагандой ту невероятную чушь, которая содержится в этом издании, то можно лишь ужасаться той глубочайшей пропасти психологической отчужденности, какая возникает между нами, — эту бездну и сотне Солженицыных не засыпать!».

Я думаю, что после написанного мною выше, становится понятно, почему довольно регулярно на моем письменном столе появляется очередной номер ежемесячного журнала «Новая Польша», хотя это издание адресовано вовсе не варшавскому читателю. И тогда я достаю журнал «Польша» с аналогичным номером. Вот передо мной номер 4 (74) «Новой Польши», и я переношусь ровно на тридцать лет назад.

С обложки номера 4 (260) журнала «Польша» за 1976 год на читателей смотрит Барбара Брыльская — актриса, которая им уже хорошо известна благодаря главной женской роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». И, возможно, только очень внимательный читатель задавался вопросом, почему это на внутренней стороне обложки редакция сообщает: «Подробнее об этой актрисе мы напишем в майском номере журнала».

А дело было вот в чем. Редакция планировала украсить обложку майского номера фотографией пани Барбары и в том же номере поместить беседу с ней. В апреле же мы хотели представить другую прекрасную актрису театра и кино — Александру Шлёнскую. Но когда апрельский номер уже печатался, я получил из отдела печати ЦК распоряжение убрать с готовой обложки фотографию Шлёнской и снять текст о ее творческих достижениях. А в типографии уже находилась обложка майского номера с Барбарой Брыльской, и это спасло нас от значительного опоздания с выпуском очередного номера.

С чем же было связано распоряжение партийной диспетчерской службы, управлявшей в Польше и печатью, и радио, и телевидением? Александра Шлёнская оказалась среди смелых людей, в том числе выдающихся деятелей культуры, подписавших протест против изменений в конституции ПНР — против внесения в нее положений о руководящей роли ПОРП и союзе с СССР.

Первое дополнение, вносимое в конституцию, усиливало диктат одной партии, что противоречило основополагающим принципам демократии, которая, впрочем, и так была в Польше фиктивной. Второе дополнение — как это восприняли протестующие — соответствовало доктрине Брежнева об ограниченном суверенитете братских стран. Я не знаю, удалось ли теперь историкам выяснить, кто все-таки был инициатором идеи, чтобы в конституции Польши появился императив о союзе с гегемоном. Возможно, это стало результатом его прямого давления, выразившегося — о чем говорила вся Варшава — во вмешательстве посла Пилотовича. Но это могла быть и собственная инициатива ПОРП, проявление сервилизма. И та, и другая версии вполне возможны. Именно в «Новой Польше» я когда-то прочитал в статье Виктора Хорева о том, как другой посол СССР в Варшаве, Г.Попов, требовал внести изменения в польский гимн и писал: «Текст гимна в политическом отношении абсолютно устарел и по своему содержанию является антирусским и шовинистическим».

Наверное, можно не объяснять, что Шлёнская не была шовинисткой и не имела антирусских предубеждений. Из беседы с ней, которая, как и обложка, не была напечатана, следовало, что она высоко ценит русскую культуру, выступает за самые широкие контакты поляков и русских и желает подлинного сближения.

В жизни нашего издания в упомянутом 1976 году и в последующие годы позднего Герека — как у нас иронически называют те времена — бывали и другие моменты. Мы напечатали присланные нам переводы стихотворений Казимеры Иллакович, сделанные известной по периоду оттепели поэтессой Натальей Астафьевой. (Напомню, что о трагической судьбе семьи Натальи Астафьевой и о замечательных творческих достижениях поэтессы рассказала недавно «Новая Польша».) У нас была опубликована большая подборка стихотворений Мариана Гжещака. Мы опубликовали также фрагменты биографии Дмитрия Шостаковича, написанной компози-

тором Кшиштофом Мейером. В связи с 50-летием со дня смерти Яна Каспровича мы опубликовали подборку его стихотворений в переводе Святослава Свяцкого. Как я записал тогда в своем дневнике, мы получили более 30 писем от читателей, которых заинтересовал рассказ журнала «Польша» о польских инженерах, раскрывших тайну немецкой шифровальной машины «Энигма».

В номере 4 (284) за 1978 год, то есть в 35-ю годовщину восстания в варшавском гетто, мы напечатали обширные фрагменты книги Ханны Краль «Опередить Господа Бога». Из отдела печати ЦК потом позвонили, чтобы сказать, что не следовало этого делать. Я говорю об этом телефонном звонке только для того, чтобы передать атмосферу, которая царила в стране; ничего оппозиционного журнал бы и не решился себе позволить. В ответ на нашу публикацию пришел ряд писем с просьбой напечатать интервью с Мареком Эдельманом. И вот теперь, читая 4 (74) номер «Новой Польши», я подумал о тех несбывшихся пожеланиях читателей. Подумал в связи с материалом «Человечество, что остается. «Campo di Fiori» 50 лет спустя».

Я был редактором журнала «Польша» дважды. Первый раз в 70-е годы, начиная с того момента, когда казалось, что в политике нового первого секретаря ЦК Герека присутствуют — в области экономики и культуры — долгосрочные либеральные акценты, отличающие ПНР от других стран соцлагеря. А второй раз — в период, когда в СССР появился, наверное, не предугаданный даже самыми искушенными советологами, Горбачев вместе с такими понятиями как перестройка и гласность.

В этот второй период моей работы в журнале новое значение приобрели встречи с читателями, бывшие прежде весьма формальными. Последняя моя встреча с читателями состоялась в Минске. В своем дневнике 20 июня 1989 г. я записал:

«Спустя годы я опять в Белоруссии. Другой Белоруссии, замечу. Осенью прошлого года в Вильнюсе и Каунасе я был свидетелем того, как пробуждалась Литва. Это было похоже на взрыв, неожиданное высвобождение скрытой энергии. Белоруссия пробуждается по-другому, это напоминает медленный подъем воды. Как оживает наполовину высохшее, погибающее уже озеро, которое капля за каплей начинает наполняться. Когда-то в Минске на улице практически никто не говорил по-белорусски, теперь часть интеллигенции делает это демонстративно. И тем более неожиданной стала для меня увиденная по местному телеканалу передача, представлявшая собой жаркую, резкую, бескомпромиссную защиту белорусского языка».

А через два дня я сделал такую запись:

«Встреча была удачной, мне задали два с лишним десятка вопросов. Спрашивали о результатах выборов и кто будет президентом, про Церковь и про сельскохозяйственную политику, про 1939 год. (...) Я познакомился с Мальдзисом, попросил его написать что-нибудь для «Польши», однако он сейчас занят составлением библиографии всей литературы на белорусском языке с момента ее зарождения (...) Я встретил также художника, который иллюстрировал последнее белорусское издание «ПанаТадеуша» — поскольку «Польша» напечатала репродукции этих иллюстраций, я вручил ему тот номер нашего журнала».

Встречу в Минске я мог считать удачной, но вернулся с ощущением, что прежняя формула журнала исчерпала себя и что мы не можем угнаться за темпами перемен, происходящих как в Польше, так и у соседей. Это подтвердила предложенная редакцией анкета. Анкета была подробной, ее заполнение требовало от читателей определенной заинтересованности и искренности. Мы получили 2160 ответов. Более 500 читателей не ограничились лишь ответами на вопросы, прислав дополнительно свои замечания, оценки, просьбы, и все это, собранное вместе, могло бы составить книгу объемом свыше тысячи страниц. Сегодня, когда Центр Левады в Москве может провести опрос на любую тему и получить репрезентативные ответы россиян, тогдашняя наша попытка узнать их мнение о журнале «Польша» и одновременно о самой Польше выглядит скромно. Но в то время она представляла собой любопытный материал к размышлению.

Для начала нечто попроще, отрывок из высказывания Юрия Сбойчакова из деревни Фоки в Пермской области: «В нашей прессе ничего не пишут о сексе, культурой сексуальной жизни у нас пренебрегают. Может быть, элита что-то знает и читает на эту тему, но я и многие, такие как я, простые люди из низов, ничего на эту тему не могут узнать. Только на пятидесятом году жизни я прочитал об этих проблемах на страницах вашего журнала. Я по-прежнему хотел бы получать информацию об этих проблемах, так как они относятся к элементарной культуре человека».

Читая эту и некоторые другие подобные косвенные похвалы журналу «Польша», я был все-таки убежден, что время ханжеских нравов у наших соседей тоже проходит и консультации в области секса — не то направление, которое следует развивать. Впрочем, почти половина ответов на анкету содержала запросы, которые Владимир Гавриченков из Томска сформулировал следующим образом: «Поменьше об ОПСД [Обществе польско-советской дружбы] и даже о молодежной музыке и спорте, побольше информации, причем самой разнообразной, о Польше сегодняшней, о ее проблемах, связанных с обновлением (Церковь, частные предприятия, оппозиция). Помещайте самые интересные статьи из польской прессы на эти темы». «Журнал слишком энигматично пишет об

острых политических проблемах», — заключала Наталья Дейр из Ленинграда. А Сергей Муравкин, 32-летний электрик из Владимира, даже конкретизировал этот упрек. «Я всегда с большим интересом читаю «Польшу», но только недавно из нашей «Литгазеты» узнал, что лидер «Солидарности» Л.Валенса является лауреатом Нобелевской премии, что у него восемь детей и т.д. Почему я узнаю об этом из нашей газеты, где «Польша»?! (...) Нам нужны объективные материалы о том, что происходит. Журнал от этого станет только более популярным». Читатели требовали, чтобы мы писали о том, может ли патриотизму поляков угрожать национализм. А Польша как страна исторически толерантная, спрашивала Татьяна Коловротная из Житомира, может ли отступить от этой традиции? Нам подсказывали конкретные темы, касающиеся культурной жизни, начиная с пожелания шире представлять творчество Виткация и кончая требованием публиковать воспоминания Даниэля Ольбрыхского о его дружбе с Высоцким. Более 500 фамилий читателей, некоторые письма — это почти статьи.

В последний год существования журнала «Польша» мы опубликовали в нем 190 страниц учебника польского языка для начинающих, отрывки из «Дневника» Витольда Гомбровича, масштабно представили двух непоколебимых сторонников сближения поляков и россиян через культуру: русиста Анджея Дравича и полониста Андрея Базилевского. Базилевский переводил, в том числе и для нас, произведения Стахуры, Бурсы, прозу Виткевича, стихотворения отца Яна Твардовского. Он представил на наших страницах бескомпромиссную оценку поверхностного и фальшивого образа польской литературы, который существовал и официально распространялся. Но время журнала «Польша» подходило к концу. Я писал в прощальной статье:

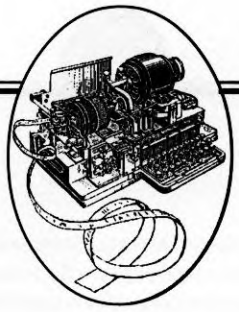
«Легендарный царь Мидас известен тем, что все, к чему он прикасался, превращалось в золото, хотя это отнюдь не принесло ему счастья. Все, к чему прикасалась сталинская или послесталинская система, даже самые благородные идеи и принципы, превращалось в фальсификаты, которые часто во всех деталях напоминали подлинники, и тем не менее были всего лишь имитациями. То же случилось и с идеей дружбы наших народов».

На этом напоминании о конце популярного иллюстрированного ежемесячного журнала и своей, обращенной к читателям самокритике, я мог бы поставить точку. Но к очередным номерам «Новой Польши» я обращаюсь не только и не столько для того, чтобы позавидовать ее редакторам в том, что у них всегда есть возможность существовать в пространстве подлинности и что никакая партийная диспетчерская не ограничивает их стремление представлять россиянам подлинный образ Польши и ее проблемы. Я — один из тех, кто регулярно смотрит российское телевидение и старается читать газеты, в том числе и те, которые, несмотря на исторические ураганы, не сменили своих названий — скажем, такие как «Комсомольская правда», в которой я когда-то публиковался. Я стараюсь знакомиться с последними, приобретшими в России шумную популярность книгами. Я слежу, насколько это возможно издали, за тем, что происходит в политике, в культуре, в интеллектуальной жизни России. И меня интересует, в какой степени издаваемый в Варшаве журнал созвучен тем дискуссиям, которые ведутся в кругах российской элиты, и созвучен ли он выдвигаемым сю концепциям; имеет ли этот журнал шанс, представляя наши раздумья и споры, быть форумом для обмена мыслями и идеями между общественностью обеих стран.

Да, имеет. Буквально через день после того как я получил номер «Новой Польши», в котором была опубликована беседа о стихотворении Чеслава Милоша ««Campo di Flori» 50 лет спустя» и предсмертный дневник Януша Корчака, я посмотрел по РТР «Планета» в документальном цикле Николая Сванидзе «Исторические хроники» очередную передачу — речь шла об ужасной судьбе Соломона Михоэлса. О том, что антисемитизм был по существу элементом, встроенным в сталинское тоталитарное видение мира. Польские публицисты и историки подчеркивают цинизм пакта Риббентропа—Молотова, хотя в России по сей день можно встретить его защитников. А Сванизде напомнил, что Сталин во время встреч с Риббентропом не только провозглашал тосты в честь Гитлера, но и обещал своему гостю — так это можно расценивать, — что со временем он уберет евреев из культурной и научной жизни. Он планировал не только геополитическое — а некоторые его сторонники готовы это ему простить, — но и идейное сближение с гитлеровской Германией.

Оценка сталинизма и его разрушительных для народов обеих стран последствий, осуждение антисемитизма, шовинизма и всяческих попыток поставить себя выше других, в том числе и соседей, — это не единственные элементы, объединяющие тех выразителей общественного мнения в наших странах, которые заинтересованы в том, чтобы мы взаимно познавали друг друга, заинтересованы в сотрудничестве и сближении. Добросовестные историки, чуждые конъюнктуре публицисты как в Польше, так и в России, заинтересованы в том, чтобы представление собственной истории, собственной культуры, а также дискуссии о национальных интересах не превращались в националистическую одержимость.

Журнал «Новая Польша» — да будет мне позволено утверждать, как человеку, который много лет назад редактировал другой польский ежемесячный журнал, выходивший на русском языке, — развивается именно в таком интеллектуальном направлении.



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

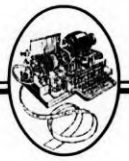
• Папа Бенедикт XVI в концлагере Аушвиц-Биркенау: «В месте, подобном этому, слова оказываются бесполезными, а сердце в пронзительной тишине взывает к Богу: «Господи, почему Ты молчал? Почему Ты допустил это?» (...) Я прихожу сюда (...) как преемник Иоанна Павла II и в то же время как сын немецкого народа — того народа, в лоне которого зародилась группа преступников, пришедшая к власти с помощью обманчивых обещаний величия, восстановления чести и значения страны. Рисуя перспективы благосостояния, они не останавливались перед террором и запугиванием, чтобы воспользоваться народом как орудием своей жажды разрушения и власти (...) Сколько вопросов возникает в этом месте! Но снова и снова возвращается один: «Где был Бог в те дни?» (...) Место, где мы стоим, — это место памяти, место Шоа (...) Я прошел вдоль плит, которые на разных языках напоминают о жертвах этого места (...) На одной из них — надпись на иврите. Властители Третьего Рейха хотели полностью истребить еврейский народ, стереть его с лица земли (...) Уничтожая Израиль, они хотели в конечном счете вырвать корни христианской веры и заменить ее созданной ими верой в господство человека — сильного человека. Есть тут и плита с надписью на польском языке. С самого начала нацисты пытались истребить прежде всего интеллигенцию, чтобы таким образом уничтожить народ как самостоятельный исторический субъект, чтобы превратить его — если от него еще что-то останется — в народ рабов (...) Есть также плита на русском языке, которая увековечивает память бесчисленного множества русских солдат, павших в борьбе с национал-социалистическим режимом. Однако эта плита заставляет нас задуматься и о трагической двойственности их миссии: освободив народы от одной диктатуры, они стали орудием, с помощью которого те же самые народы были ввергнуты во власть новой диктатуры — Сталина и коммунистической идеологии». *(«Тыгодник повшехный», 4 июня)*

• «На вчерашней генеральной аудиенции Папа Бенедикт XVI поблагодарил поляков за теплый прием во время его визита в Польшу (...) Больше всего места в своем выступлении Папа уделил посещению гитлеровского концлагеря Аушвиц. Бенедикт XVI призвал человечество не забывать об этих испытаниях и предостерег от соблазна расовой ненависти, порождающей антисемитизм». *(«Дзенник», 1 июня)*

• Президент Лех Качинский: «Моя встреча с президентом Украины Виктором Ющенко в Павлокоме имеет огромное значение (...) В 1945 г. эта деревня стала местом особенно трагических событий. Отсюда была похищена группа поляков, которых затем убили и похоронили в неизвестном месте. Спустя несколько недель польские вооруженные формирования истребили большинство украинских жителей Павлокомы. Преступление на целые десятилетия окружили завесой молчания, а жертвам так и не поставили крестов, лишив их молитв близких. Павлокома стала для украинцев символом трагедии их народа (...) Мы должны открыто говорить о болезненном и трудном прошлом, шаг за шагом вырабатывая единую, справедливую оценку всех военных трагедий — и польских, и украинских (...) Пожалуй, лучше всего совместные достижения поляков и украинцев были видны на киевском Майдане Незалежности, где в «оранжевой» толпе рядом развевались украинские и польские флаги, а на наш голос солидарности Майдан ответил возгласом: «Хай живе Польща!» Этого из нашей истории уже не вычеркнуть». *(«Дзенник», 13-14 мая)*

• «В воскресенье президент Виктор Ющенко почтил память жертв коммунистических преступлений в Быковне под Киевом (...) В Быковне покоятся около 100 тысяч человек, расстрелянных в 1937-1941 годах. Похоронены там и убитые НКВД польские офицеры, попавшие в советский плен в 1939 году. Киев сообщил польскому Институту национальной памяти (ИНП), что в Быковне обнаружены останки 270 наших офицеров (...) В середине июня наши специалисты начнут в Быковне эксгумационные работы». *(«Газета выборча», 22 мая)*

• «Служба безопасности Украины (СБУ) (...) будет искать в своих архивах документы, которые позволили бы выяснить судьбу польских офицеров, расстрелянных НКВД на территории Украины (...) Речь



идет о 3435 поляках, которых в марте 1940 г. вывезли из тюрем на Западной Украине в направлении Киева и Херсона». *(«Газета выборча», 8 июня)*

• **Стефан Меллер, бывший посол Польши в Москве, бывший министр иностранных дел: «Вопреки тому, что мы иногда слышим от россиян, нет ни одного разумного поляка, который, говоря о катынском преступлении, обвинял бы в нем русских как народ. Мы знаем и не устаем повторять, что ответственность за него несет тогдашняя структура тоталитарного государства. Я считаю, что несогласие Москвы с предлагаемой Польшей формулой осуждения катынского преступления вредит планам демократизации России. Абстрагируясь от двусторонних отношений между нашими странами, такое замалчивание правды засоряет российское мышление о собственной истории и затрудняет бегство от проклятого для всех нас — поляков и россиян — наследия коммунистических преступлений. До тех пор, пока это не изменится, отношения между Польшей и Россией будет дестабилизировать не только газопровод по дну Балтийского моря, но и пропасть в учебниках истории и в памяти польских семей». *(«Дзенник», 24 мая)***

• «На территории Польши находится 638 зарегистрированных кладбищ, а также братских и одиночных могил красноармейцев, погибших во время II Мировой войны. По польским данным, в них покоятся 488 тыс. солдат и офицеров, павших в бою, и 800 тысяч замученных в лагерях для военнопленных. По мнению россиян, в Польше похоронены 600 тыс. павших в бою и более 700 тыс. военнопленных. Однако, независимо от источников, данные эти носят лишь оценочный характер и потому в Польше сопровождаются комментарием: «плюс неизвестное число». Это касается прежде всего военнопленных». *(Мартин Огдовский, «Политика», 27 мая)*

• **«Польские дипломатические источники подтверждают: (...) в Варшаву действительно поступило предложение провести встречу Качинский—Путин у президента Белоруссии Александра Лукашенко (...) Заместитель главного редактора «Новой газеты» Андрей Липский (..) комментирует сообщение о российском предложении однозначно: «Если оно подтвердится, это может означать только одно: Кремль не слишком вежливо отказывает польскому президенту во встрече» (...) Подобным образом думает и публицист (...) газеты «Коммерсант» Сергей Строкань: «По-видимому, Кремль не желал этой встречи». *(«Жечпосполита», 26 мая)***

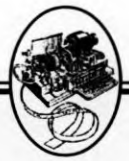
• Президент [Лех Качинский] подтвердил факт получения от Владимира Путина письма, в котором тот предлагает встретиться на нейтральной территории, т.е. в лукашенковской Белоруссии (...) По мнению президента, предложение встретиться в Белоруссии «неприемлемо». *(«Газета выборча», 1 июня)*

• **«Более двадцати ракетных комплексов С-300, которые Россия передала Белоруссии и которые в ближайшие недели будут размещены непосредственно за нашей восточной границей, должны стать эффективной защитой от воздушной атаки «с Запада» — т.е. с территории Польши (...) Решение передать Белоруссии ракетные комплексы прекрасно вписывается в международную стратегию Москвы (...) Примером может послужить недавнее заявление министра обороны России Сергея Иванова, сообщившего о намерении существенно усилить российские вооруженные силы в Калининградской области. Все это создает впечатление, что за нашей восточной границей снова берет верх тон «холодной войны». *(Славомир Поповский, «Жечпосполита», 7 мая)***

• «Почти 9 тыс. солдат и офицеров из Белоруссии и России примут участие в запланированных на 17-25 июня учениях (...) Эти учения пройдут прямо за нашей восточной границей (...) На заключительном этапе за ходом учений будут наблюдать президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко». *(«Жечпосполита», 10-11 июня)*

• **«Президент Литвы наградил маршала Сената Богдана Борусевича большим командорским крестом ордена великого князя Литовского Гедиминаса. Президент Адамкус подчеркнул заслуги одного из былых лидеров «Солидарности» в деле поддержки литовского стремления к независимости, а также его личный вклад в укрепление литовско-польских отношений». *(«Газета выборча», 22 мая)***

• «Вчера в полдень президент Лех Качинский неожиданно провел незапланированное заседание Совета национальной безопасности. Президент, премьер-министр, маршалы Сейма и Сената, а также министры внутренних дел и обороны обсуждали вопрос энергетической безопасности Польши (...) Сразу же после заседания совета президент вылетел в Киев (...) в качестве специального гостя встречи в верхах президентов Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии (...) Речь должна была идти о защите от энергетического шантажа России. Польша заинтересована в строитель-



стве трубопровода Одесса—Броды, по которому к нам будет поступать нефть из черноморских портов в обход России». *(«Дзенник», 23 мая)*

• Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк: «Лучшая гарантия стабильности Европы — это конструктивное сотрудничество между Францией и Германией на западе и Польшей и Украиной на востоке». *(«Дзенник», 15 мая)*

• ««Все, что препятствует добрососедским отношениям Польши с Германией, деструктивно для Европы», — сказал Лех Качинский (...) Стоя в Варшаве рядом с немецким президентом Хорстом Кёлером, он назвал два вопроса, «по которым наши мнения расходятся». Это строительство «Центра против изгнаний» и договор о строительстве Северного газопровода по дну Балтийского моря в обход Польши». *(«Дзенник», 19 мая)*

• «115 полицейских отправились из Слупска в Косово в рамках миротворческой миссии. Поляки будут, в частности, охранять и конвоировать людей и спецгрузы, а также преследовать военных преступников и бандитов». *(«Дзенник», 29 мая)*

• «На сегодняшний день в Афганистане служат 14 польских спецназовцев из военной жандармерии, в Ираке — 23, в Боснии — 30. В Ираке они обеспечивают безопасность польских военных баз, в Боснии — охраняют при перевозках военную технику, а также инспектируют склады оружия и боеприпасов. В конце июня 101 жандарм отправится в Конго (...) чтобы обеспечивать там безопасность во время первых за последние 40 лет свободных парламентских и президентских выборов, а также охранять командование миссии (...) В случае беспорядков они должны пресекать их. В случае гражданской войны их задачей будет эвакуировать международный персонал, в т.ч. наблюдателей ООН и ЕС». *(Изабела Лещинская, «Дзенник» 7 июня)*

• «В ходе военных миссий за пределами Польши ранения получили уже более 700 военнослужащих. 70 из них были ранены в Ираке, в т.ч. 45 — тяжело. После возвращения домой им пришлось вести еще один бой — за возмещение вреда при повреждении здоровья. Теперь они требуют права на бесплатные лекарства». *(«Дзенник», 27-28 мая)*

• Согласно исследованиям ГфК «Полония», «в прошлом году покупательная способность польского общества выросла на целых 10% (...) Больше всего на покупки и услуги тратят жители Варшавы — на 58% больше, чем в среднем по стране (...) Беднее всех гмины Коваль, Целёндз и Сырокомля в Люблинском воеводстве. Живущие там люди тратят в два раза меньше, чем среднестатистический поляк». *(«Дзенник», 9 июня)*

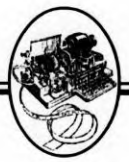
• «Каждая четвертая полька зарабатывает больше, чем ее партнер. Каждый двадцатый поляк сидит дома и нянчит детей. Уже второе поколение польских женщин образованно лучше мужчин: женщины чаще получают степень магистра (...) Польки пытаются преодолевать стереотипы, связанные с их полом, все более охотно выбирая учебу на экономических (в три раза чаще, чем 30 лет назад) и технических (в четыре раза чаще) направлениях (...) Смена ролей в современной семье идет без особых проблем до тех пор, пока жена не начинает зарабатывать больше мужа. Он переносит такое положение исключительно тяжело». *(Мартина Бунда, «Политика», 10 июня)*

• Согласно опросу ЦИОМа, «более половины поляков (57%) заявляют, что у них есть расчетный счет в банке (...) 52% опрошенных считают, что на протяжении последних 16 лет банки способствовали развитию польской экономики (...) В том, что деньги, положенные в банк, находятся в безопасности, убеждены почти три четверти поляков (74%) (...) Каждый второй считает, что польские банки хорошо управляются». *(«Политика», 10 июня)*

• «Специалисты Института изучения рыночной экономики (ИИРЭ) утверждают, что польские потребители не обременены долгами сверх меры (...) Чрезмерно обременены долгами (т.е. испытывают проблемы с погашением кредитов) около 290 тыс. человек. Несмотря на оптимистические данные, специалисты института считают, что необходим закон о потребительском банкротстве. «Отсутствие решений по этому вопросу может привести к общественной изоляции тех, кто не в состоянии выбраться из долговой ловушки», — подчеркнул зам. директора ИИРЭ проф. Лешек Павловья. По его мнению, общество спокойно относится к списанию долгов честных должников, которые попали в долги не по своей вине». *(«Дзенник», 2 июня)*

• «В прошлом квартале биржевые фирмы заработали 6 млрд. злотых, т.е. почти на 14% больше, чем в тот же период прошлого года. Судя по прогнозам, их показатели будут еще лучше (...) Это свидетельствует о хорошем состоянии польской экономики». *(«Жечпосполита», 19 мая)*

• «Согласно отчету Всемирного банка, в 2005 г. польский ВВП вырос лишь на 3,4%. По мнению аналитиков ВБ, это значительно ниже ожиданий рынка. По этому показателю Польша заняла по-



следнее место среди новых стран-членов ЕС. Однако экономика ускоряется, и эксперты предсказывают, что в этом году нас ждет дальнейшее оживление». *(«Дзенник», 31 мая)*

• «По мнению председателя Общества пекарей РП Леха Ендрыки, «в течение нескольких лет могут обанкротиться 30-40% самых маленьких пекарен (...)». За последние девять лет потребление хлебобулочных изделий сократилось в Польше на 20% (...) По разным оценкам, теневой сектор в хлебобулочной промышленности достигает 30%. Хлеб пекут в гаражах и хозяйственных постройках, а его качество оставляет желать лучшего. Однако многие покупают его, так как это дешево (...) Уже несколько лет пекарням приходится конкурировать с торговыми сетями. «По меньшей мере 12% хлебобулочных изделий продают гипермаркеты (...) Хлеб там дешевый. К сожалению, часто низкая цена оборачивается плохим качеством», — говорит [директор Института «Польская выпечка»] Гжегож Новаковский. Более доходным, чем хлебопечение, становится производство тортов, пирожных и сладких булочек». *(Беата Древновская, «Жечпосполита», 2 июня)*

• «По данным министерства труда и социальной политики, в мае уровень безработицы в Польше составил 16,5%. По сравнению с апрелем он снизился на 0,7% (...) Это лучший показатель за последние три года. С начала года число безработных уменьшилось на 188,5 тыс., т.е. на 6,8%». *(«Жечпосполита», 7 июня)*

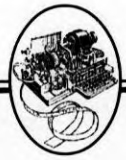
• «Уже почти 700 тыс. молодых поляков выехали за границу из-за невозможности найти работу на родине (...) В 2003 г. уровень безработицы составлял 19,1%, в 2005-м — 17,6%, а в конце этого года, по прогнозам министерства труда и социальной политики, он составит 16,9% (...) В настоящий момент в центрах занятости зарегистрированы 2,7 млн. человек (...) По некоторым оценкам, целых полтора миллиона безработных на самом деле работают нелегально. Легальная работа, за которую они будут получать на руки меньше, чем сейчас, их не слишком интересует. Статус безработных нужен им, чтобы лечиться». *(«Политика», 27 мая)*

• Согласно последнему отчету британского МВД об использовании иностранной рабочей силы, по сравнению с британцами поляки отличаются «более высокой мотивацией, надежностью и преданностью работе». Эмигранты из Восточной Европы «охотно соглашаются на более продолжительный рабочий день, а работают более эффективно». В час они зарабатывают 5-6 фунтов. Восьми из десяти приезжающих в Великобританию поляков меньше 32 лет. 97% из них работают на полную ставку. *(Мартин Дубинец, «Дзенник», 30 мая)*

• «Гражданская служба, т.е. корпус высококвалифицированных аполитичных служащих, лояльных государству, а не правящим партиям, должна была стать одной из основ нашей демократии (...) В этом году число желающих получить статус чиновника гражданской службы резко упало [в два раза по сравнению с прошлым годом], так как люди видят, что путь к карьере лежит через политические салоны, а не через трудные экзамены». *(Кшиштоф Собчак, «Жечпосполита», 5 июня)*

• «Центральное следственное управление (ЦСУ) задержало нескольких высокопоставленных чиновников министерства финансов (в т.ч. двух бывших директоров департаментов) и начальника одного из налоговых управлений. Они обвиняются в получении взяток за невзимание налогов и неформальные финансовые консультации». *(«Тыгодник повшехный», 28 мая)*

• «Коррупция — это бич Польши. Особенно страдают от нее предприниматели (...) Новым оружием государства должно стать Центральное антикоррупционное управление (ЦАУ). «Однако закон о ЦАУ (...) лишь усугубит проблему, — предостерегает от имени предпринимателей председатель Business Center Club Марек Голишевский. — Если государственная власть не доверяет полиции, прокуратуре, пограничной охране, таможенной службе, налоговым структурам, Центральному следственному управлению, Агентству внутренней безопасности и Высшей контрольной палате, то пусть она (...) ликвидирует эти институты и создаст новые контрольные структуры (...) Включая ЦАУ в уже существующие структуры, власти создадут ужасный и совершенно ненужный хаос (...) Закон говорит о компетенциях ЦАУ лишь в общих чертах, не уточняя, какие действия и в каком объеме оно должно предпринимать (...) Законопроект предусматривает предоставление сотрудникам ЦАУ полномочий, которые вторгаются в сферу гарантируемых конституцией свобод и гражданских прав (...) Удивление и сомнение вызывает право ЦАУ распоряжаться (...) персональными данными граждан (...) касающимися расы, политических взглядов, вероисповедания, сексуальной ориентации и т.п.». *(«Ньюсуик-Польша», 11 июня)*



• **«По данным Всемирного банка, в среднем судебное разбирательство длится в Польше почти 1000 дней. Это в двадцать раз дольше, чем в Голландии, и в пять раз дольше, чем в Германии (...) Вчера отчет ВБ был передан министру юстиции Збигневу Зёбро. «Все замечания банка будут приняты во внимание. Мы планируем существенно изменить экономическое законодательство», — заверил министр».** ***(Лешек Костшевский, «Газета выборча», 1 июня)***

• «Ни президент, ни премьер, ни маршал Сейма не явились вчера на торжества в честь 20-летия Конституционного суда. Суд навлек на себя гнев «Права и справедливости» (ПиС), признав неконституционными несколько положений дополнения к закону о Всепольском совете по телевидению и радиовещанию, а также закона о юридических профессиях. Оба закона были любимыми детищами правящей партии». *(«Газета выборча», 30 мая)*

• **«Папа Бенедикт XVI встретился вчера с судьями Конституционного суда. Папа поблагодарил их за «созидание пространства свободы и справедливости» (...) Незадолго до встречи нунций [архиепископ Юзеф Ковальчик] поблагодарил судей за «укрепление авторитета правового государства».** ***(«Газета выборча», 27-28 мая)***

• Согласно опросу ЦИОМа, в начале июня за «Гражданскую платформу» (ГП) проголосовал бы 31% избирателей, за ПиС — 26%, за «Самооборону» и Союз демократических левых сил (СДЛС) — по 7%, за «Лигу польских семей» (ЛПС) и аграрную партию ПСЛ — по 3%. Избирательный барьер составляет 5%. В голосовании намеревались участвовать 48% взрослых поляков. *(«Жечпосполита», 10-11 июня)*

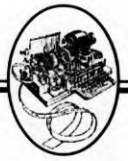
• **Председатель Конституционного суда проф. Марек Сафьян: «В ходе преобразований, начавшихся после 1989 г., нам так и не удалось убедить общество, что теперь мы живем в собственном государстве, о котором надо заботиться, за которое мы несем ответственность (...) Вероятно, это результат ошибок, допущенных в начале 90-х. Я и сам себя виню, поскольку тогда я был убежден, что достаточно создать сильные демократические институты и механизмы — и действительность изменится чуть ли не в один день. Между тем это долгий процесс, в ходе которого нужно воздействовать на человеческое сознание и показывать выгоды демократии (...) Спор о том, может ли существовать в Польше либеральная демократия — это по сути дела спор об активности гражданского общества. Невозможно построить демократию, если общество будет пассивно».** ***(«Политика», 3 июня)***

• «История армян в Польше насчитывает уже почти 700 лет (...) Начавшаяся в Средние века миграция армян закончилась лишь в период утраты Польшей независимости. Спустя двести лет, в последнее десятилетие XX века, мы вновь стали свидетелями массового наплыва в нашу страну армянского населения (...) По разным оценкам, число армян, приехавших в Польшу в этот период, составляет от 50 до 100 тыс. человек. Одним из аспектов столь мощной волны миграции стали напряженные отношения между приезжими и поляками (...) Конфликты, никогда не выходившие за пределы локальных сообществ, как правило возникали на почве экономической конкуренции. Однако за последние несколько лет не было отмечено ни одного конфликта, сторонами которого были бы армяне и поляки. Затухание конфликтов связано как с интеграцией армян в польское общество, так и с большей терпимостью обеих сторон друг к другу». *(Павел Нечуя-Островский, «Бунт младых духем», март-апрель)*

• **«Польские татары празднуют 80-летие Мусульманского религиозного объединения. На юбилейные торжества прибыли представители исламских государств со всего мира (...) Мусульманское религиозное объединение было основано в Вильне в 1925 году. Почетным покровителем юбилея стал маршал Сейма Марек Юрек. 8 июня в Сейме откроется выставка «Мусульмане Речи Посполитой».** ***(«Жечпосполита», 3-4 июня)***

• «Впервые за последние полвека в Варшаве проходит конференция раввинов (...) 25 раввинов — прежде всего из Центральной Европы (Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Германии), а также из Великобритании, скандинавских стран и Израиля — собрались на конференцию в синагоге Ножиков». *(«Жечпосполита», 22 мая)*

• **«В парке между Дворцом культуры и Свентокшиской улицей открылся памятник великому педагогу и писателю Янушу Корчаку (...) Место установки памятника неслучайно: до войны здесь проходила Слиская улица, где находилось здание, ставшее последним пристанищем «Дома сирот» Старого Доктора, как называли Корчака его воспитанники. Отсюда в августе 1942 г. он отправился со своими детьми на Умшлагплац, откуда все они были отправлены в газовые камеры Треблинки (...) На открытии памятника присутствовали не только президент Польши Лех Качинский и и.о. президента [мэра] Варшавы Мирослав Кохальский, но и более сотни детей из школ имени Корчака со всей Польши».** ***(Кшиштоф Махоцкий, «Жечпосполита», 2 июня)***



• «В субботу вечером в центре Варшавы главный раввин Польши Михаэль Шудрих подвергся нападению с применением газового баллончика. Нападавшего ищет вся варшавская полиция». *(«Жечпосполита», 29 мая)*

• Председатель еврейской религиозной общины Варшавы Петр Кадлицик: «Не думаю, чтобы это была антиеврейская провокация. Скорее всего, это просто хулиганская выходка. Это сделал человек, который чувствует, что польское общество допускает подобные вещи. На протяжении последних десяти дней члены нашей общины получали эсэмэски с угрозами. К счастью, этим делом всерьез занялись правоохранительные органы». *(«Жиче Варшавы», 29 мая)*

• Шевах Вейс, бывший посол Израиля в Польше: «Когда-то в Варшаве жило 420 тыс. евреев и было много синагог. Теперь здесь живет всего тысяча евреев, у которых есть одна синагога и один раввин. И тем не менее кто-то на него напал». *(«Дзенник», 29 мая)*

• «В понедельник Михаэля Шудриха пригласил в Президентский дворец Лех Качинский. «Президент осудил любые проявления антисемитизма и заверил, что обратится к министру внутренних дел Людвику Дорну с просьбой взять под контроль места, важные для лиц еврейской национальности», — сказал статс-секретарь Канцелярии президента Мацей Лопинский (...) «Я решил создать при криминальном отделе постоянную группу по выявлению опасностей, грозящих национальным и религиозным меньшинствам», — заявил главный комиссар полиции Марек Беньковский». *(«Дзенник», 30 мая)*

• «В Польше пропаганда антисемитизма остается безнаказанной. Прокуроры регулярно отказываются возбуждать дела по статьям 256 и 257 УК, что на практике сделало эти статьи мертвыми. Такой тезис ставит общество «Открытая Речь Посполитая» в докладе «Факт преступления не установлен. Отношение прокуроров к сообщениям об антисемитских публикациях». В докладе анализируются четыре решения прокуроров отказать в возбуждении уголовного дела или прекратить дело в отношении лиц, пропагандирующих антисемитские взгляды и распространяющих литературу, оскорбительную для евреев, а также призывающую к ненависти в отношении евреев. Авторы брошюры упоминают (уже без подробного анализа) еще о нескольких подобных решениях. С другой стороны, им так и не удалось обнаружить ни одного случая предъявления обвинений на основании статей 256 и 257 УК». *(Анджей Качинский, «Жечпосполита», 1 июня)*

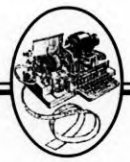
• «До вчерашнего вечера в разных частях Польши были задержаны четыре человека, сотрудничающих с организацией «Кровь и честь», которая на своем интернет-сайте разместила данные лиц из левых, антифашистских и антирасистских кругов (...) Несколько дней назад в варшавском районе Повисле был избит и ранен ножом активист анархистского движения, чьи данные тоже были на этом сайте. Сайт все еще работает. Он размещен на сервере в США. Польский МИД уже обратился к американским властям с просьбой блокировать его». *(«Газета выборча», 1 июня)*

• «Полиция задержала 37-летнего Анджея П., модератора польского сайта «Redwatch», на котором были размещены данные антифашиста, получившего ножевое ранение (...) Прокуратура (...) предъявила ему обвинение в редактировании сайта «Redwatch», в призывах к насилию и ненависти на расовой, религиозной и мировоззренческой почве, а также в нарушении закона о защите персональных данных». *(«Жечпосполита», 2 июня)*

• «Продолжается операция, направленная против неофашистских кругов. В следственный изолятор попал еще один создатель шовинистического сайта «Redwatch». Полиция намерена продолжать аресты. Вчера она задержала 21-летнего студента политологии Бартоша Б. по подозрению в редактировании интернет-сайта «Redwatch». *(«Жечпосполита», 6 июня)*

• «Двое бывших сотрудников Службы безопасности Ян Д. и Мирослав Т. приговорены к двум годам и восьми месяцам лишения свободы каждый. ИНП обвинил их в том, что в 1981-1985 гг. они применяли физические и психические пытки к членам местной «Солидарности», а также угрожали им смертью». *(«Дзенник», 2 июня)*

• «Сегодня бывший капеллан новогутской «Солидарности» свящ. Тадеуш Исакович-Залеский представит общественному мнению сведения о секретных сотрудниках [коммунистических] спецслужб среди краковского духовенства и объявит имена 28 агентов. Краковская курия предостерегла его от такого шага (...) Председатель ИНП Януш Куртыка назвал (...) действия свящ. Исаковича законными (...) «Ни один священник не имеет полномочий публиковать сведения из архивов ИНП», — говорится в специальном коммюнике Краковской митрополичьей курии». *(«Жечпосполита», 31 мая)*



• «Священник, который хотел на специальной пресс-конференции объявить имена агентов госбезопасности, не может ни говорить о них, ни даже изучать проблему внедрения агентов в церковную среду во времена ПНР. Делать это ему запретил краковский митрополит. Кардинал Станислав Дзивиш не встретился с о. Залеским лично. Решение митрополита вручил священнику в письменном виде канцлер курии Петр Майер за три часа до начала пресс-конференции. «Я принимаю это решение в духе послушания митрополиту, к которому я всегда испытывал и продолжаю испытывать глубокое почтение», — сказал журналистам (...) о. Тадеуш Исакович-Залеский». *(«Жечпосполита», 1 июня)*

• Стефан Братковский: «Решение кардинала Дзивиша защищает не сутану, а честный путь познания правды». ***(«Жечпосполита», 3-4 июня)***

• «К концу 1982 г. у органов госбезопасности было почти шесть тысяч секретных сотрудников из числа людей Церкви. Об этом свидетельствует найденная нами ведомость, составленная 31 декабря 1982 г. в министерстве внутренних дел. Таблица очень подробна. В ней отмечено, сколько священников, монахов, викариев, студентов и преподавателей католических учебных заведений сотрудничало с госбезопасностью. Есть в ней и данные по каждому воеводству». *(Томаш Буткевич, «Дзенник», 31 мая)*

• «Суд пришел к заключению, что на ИНП распространяется действие закона о защите персональных данных. Теперь главный инспектор по защите персональных данных может закрыть доступ к каталогам имен предполагаемых агентов и сотрудников госбезопасности лицам, не работающим в ИНП». ***(«Газета выборча», 31 мая)***

• «Два крупнейших медиа-концерна — «Агора» и «Аксель Шпрингер» — сошлись в газетном бою. Поединок «Газеты выборчей» с «Дзенником» — это нечто большее, чем просто рыночная игра. «Газета выборча» никогда не скрывала своего чувства миссии. «Дзенник» заявляет, что хочет нарушить ее монополию на формирование общественного мнения (...) «Дзенник» стремится лишить «Газету выборчу» статуса единственного толкователя действительности и властителя дум, в т.ч. и интеллигентских. Его сотрудники подчеркивают, что в появлении крупной консервативной газеты в консервативном обществе нет ничего странного». *(Агнешка Рыбак, «Политика», 10 июня)*

• «Эксперименты на животных весьма дорогостоящи. Крыса из хорошей лаборатории стоит около 100 злотых. В Польше, как и во всем Евросоюзе, нельзя ставить опыты на бездомных животных. Животных для экспериментов нужно разводить в специальных питомниках. На одном животном можно провести только один эксперимент (...) «Раньше мне казалось, что на смену методов повлияет нравственный фактор, но теперь я вижу, что самое большое влияние оказывает экономика», — говорит Дариуш Слядовский из Варшавской медицинской академии, который уже больше 15 лет занимается разработкой альтернативных исследовательских методов, способных прийти на смену экспериментам на животных (...) В прошлом году в Польше для экспериментов было использовано 420 тыс. животных. Право вести подобные исследования имеют по меньшей мере 90 научных институтов (...) Чаще всего в Польше используются мыши и птицы, однако ученым случалось проводить эксперименты также на овцах (6982), лошадях и ослах (894), собаках (285) и кошках (98)». ***(Александра Бялый, «Жечпосполита», 31 мая)***

• «Польский союз голубеводов насчитывает более 43 тыс. членов (...) У голубеводов есть свой капеллан (разумеется, тоже голубевод) о. Юзеф Жилка, а также ежегодный съезд — престольный праздник на Горе святой Анны, куда они съезжаются со 180 хоругвями со всех отделений и округов. Как правило, на хоругвях изображен св. Франциск, покровительствующий четырем миллионам польских почтовых голубей». *(Барбара Петкевич, «Политика», 3 июня)*

Мария Витт

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ БИБЛИОТЕК XVIII ВЕКА

Книжное собрание Залуских в Варшаве

Польша, говорящая по-французски

В течение XVIII века французский язык окончательно завоевал Польшу. До этого его место занимала служившая официальным языком латынь. Во второй половине XVII в. «офранцузился» польский двор. Это произошло под влиянием двух женщин: Марии-Луизы де Гонзаго, дочери герцога Неверского, которая в 1645 г. вышла замуж за короля Владислава IV, и жены короля Яна Собеского, дочери нивернезского дворянина Марии-Казимиры Аркьен (известной под именем Марысеньки). В 1645 г. все князья и придворные говорили по-французски чаще и охотней, чем на родном языке.

Французское влияние достигло апогея в правление Станислава Августа Понятовского (1764-1795), получившего эстетическое воспитание в Париже в салоне госпожи Жоффрен, — он говорил по-французски лучше, чем по-польски, на этом языке вел переписку и на нем же написал мемуары. Французский стал разговорным языком польского светского общества.

Братья Залуские: Анджей Станислав Костка ▲ и Юзеф Анджей ▼

Исключительная библиотека (1747-1795)

Библиотека Залуских была создана двумя братьями — людьми с незаурядной судьбой.

У этих двух аристократов, одновременно занимавших высокие посты в Церкви, была идея создать полностью демократическое и удивительно либеральное учреждение. При помощи их библиотеки элитарные знания, ранее предназначенные только для посвященных, должны были стать общедоступными в условиях большой свободы — без всякой цензуры.

Речь идет о братьях Залуских: Анджее Станиславе Костке (1695-1758) и Юзефе Анджее (1702-1774), любителях книг с самой ранней молодости.

Принадлежавшие к польскому родовому дворянству, они получили княжеское воспитание, включавшее, в частности, поездку в Европу с продолжительным пребыванием в Риме и Париже. Их дядя, плоцкий епископ, предназначил их к церковному служению.

Париж и Франция Залуских (1716-1717, 1720-1723)

Во время своей первой поездки оба брата провели в Париже почти год, с осени 1716 до лета 1717 года. Им покровительствовал кардинал Мельхиор де Полиньяк, бывший посол Франции в Польше. Залуские продолжали свои занятия по диалектике, риторике, римской истории, географии, Библии и, хотя приготовлялись к церковному служению, брали уроки танцев — «не для того, чтобы танцевать, но чтобы научиться здороваться по здешней моде».

Экслибрис библиотеки Залуских

Еще совсем юными братья начали собирать книги: в первом списке, который Юзеф составил в 1720 г., в возрасте 18 лет, зарегистрировано три тысячи книг. Годом позже, после смерти дяди-епископа, они унаследовали крупный и ценный книжный фонд, к которому прибавилось и собрание другого родственника, примаса Ольшовского.

Между 1720 и 1723 гг. Юзеф снова находился в Париже, где продолжал углубленные занятия в семинарии Сен-Сюльпис. Он проводил время в Исси-ле-Мулино под Парижем, побывал в цистерцианском аббатстве Карноэ в Бретани, читал проповеди по-французски в парижской церкви Сен-Сюльпис, побывал в Траппе, бывал у Мельхиора де Полиньяка, но не забывал посещать библиотеки и книготорговцев. Он покупал книги и рукописи, в библиотеках копировал неизвестные или неизданные источники по истории Польши.

Стоит напомнить, что четвертая парижская публичная библиотека, «Каролина», библиотека священников братства «Христианского вероучения», была открыта прямо перед его прибытием в Париж, 24 ноября 1718 г., по завещанию доктора богословия парижского факультета Мирона.

Возвращение в Польшу (1723-1736)

Поставленный плоцким епископом, Юзеф намеревался основать общественную библиотеку в своем епископском дворце, но в 1723 г. оба брата в конечном итоге решили соединить свои собрания с унаследованными от предков и открыть публичную библиотеку в Варшаве.

По сообщению лейпцигской газеты, в 1728 г. в собрании Юзефа Залуского было уже восемь тысяч книг со всей Европы, и он собирался издать полную библиографию книг польских писателей и иностранцев, писавших об истории Польши.

В 1732 г. в «Programma Literarium» он объявил о своих планах открыть публичную библиотеку и в то же время представил обширную издательскую программу, основанную на его собрании. Он обращался к тем, кто был заинтересован сбором документов и подготовкой библиографических и других справочных материалов.

Политическое потрясение в Европе, вызванное смертью короля Августа Сильного (Августа II) в 1733 г., сделало эти планы несвоевременными и задержало создание публичной библиотеки на 20 лет.

Лотарингия (1736-1742)

В борьбе за польский трон Франция поддержала Станислава Лещинского, ставшего за восемь лет до этого тестем короля Франции. В конце концов при поддержке России и Австрии корону Польши захватил сын Августа II. Епископ Юзеф Залуский, франкофон, франкофил и сторонник Лещинского, решил покинуть Польшу (1736) и отправиться ко двору своего короля в люневильском изгнании. В ту пору его библиотека уже была знаменита. Перед отъездом польские ученые умоляли его оставить библиотеку в стране на службе науки.

С 1736 г. в Люневиле Залуский начал пополнять свое собрание. Он часто отправлялся в Париж и Версаль и бывал у книготорговцев. Согласно списку, составленному им самим, он познакомился в Париже со 180 литераторами, учеными, библиофилами, собирателями книг и книготорговцами, посетил несколько десятков библиотек — «больше, чем в любом другом городе». Многие авторы дарили ему свои книги для библиотеки. Некоторые книги, которые дал ему Жан-Поль Биньон, библиотекарь Королевской библиотеки, сохранились до наших дней.

Взамен епископ дарил польские книги: Бюффону он послал «Auctuarium historiae naturalis», Габриэлю Франсуа Куайе дал книги и источники для его работы над историей Яна III Собеского. Знаменитому специалисту в области геральдики Озье он предложил генеалогическое древо князей Оссолинских. Реомюр, знаменитый изобретатель термометра, получил от Залуского для своей текущей работы сборники польских наблюдений над саранчой.

Иногда страсть к книгам приводила нашего епископа на грань приличий. Он не колеблясь обменивался книгами с Пьером-Жакобом Сефером, владельцем превосходного собрания произведений, «которые подвергали сомнению веру, сомнительных, парадоксальных, фанатичных, осужденных на костер».

В библиотеку Залуского попали по крайней мере пять книг из библиотеки аббатства Сен-Жермен де Пре и по крайней мере одна — от доминиканцев с улицы Сен-Жак; бесчисленные книги были получены из библиотеки иезуитской коллегии Людовика Великого, от каноников церкви святой Женевьевы, из Королевской библиотеки, Сорбонны, конгрегации Сен-Сюльпис, да и изо всех парижских библиотек.

В Лотарингии Залуский поддерживал отношения со всеми важными аббатствами, коллегиями и учеными вокруг Люневиля. Во время своего пребывания в Люневиле Антуан Ланселот, его друг и партнер по библиофильским обменам, по совету Людовика XV составил инвентарный список архивов Лотарингии. Станислав Лещинский, который основал ежедневно открытую публичную библиотеку (1750), разумеется, обсудил этот проект с другом-епископом. Но как бы они оба этим ни увлекались, мысли их на этот счет различались, и разногласия вышли наружу. Это была одна из причин, побудивших епископа возвратиться в Польшу (1742). Несколько лет спустя его люневильское собрание отправилось на родину — «тысячи томов, упакованных в 84 ящика».

В библиотеке Нанси остался только «малый фонд Залуского». По просьбе короля епископ в 1756 г. предложил некоторые из своих книг Академии Нанси, чтобы быть допущенным в нее как иностранный член. Напомним, что академия, основанная Станиславом Лещинским, была академией французского языка: «В герцогстве, где часть населения говорила на немецком диалекте, это не разумелось само собой. При жизни Станислава все сообщения, все речи произносились на французском языке, за единственным исключением текста на латыни знаменитого астронома священника Босковича. Задачей было готовить присоединение Лотарингии к Франции», — пишет П.Буайе, автор книг «Польский двор в Люневиле» и «Малый фонд Залуского».

Подвижность непоседливого епископа может удивить. Во времена, когда каждая поездка требовала подготовительных трудов и была тяжела, он изъездил всю Европу в разных направлениях, побывал в Италии, Германии, Австрии, Нидерландах и России.

Он был членом итальянских (Рим, Флоренция, Болонья) и немецких (Лейпциг, Берлин, Грифи, Иена) научных обществ, членом академий в Санкт-Петербурге, Нанси, Стокгольме и Оломоуце. Но все его попытки получить кресло во Французской Академии не дали результата.

Личные контакты были ничтожно малой частью его библиотечной деятельности: у него были агенты-книготорговцы во всех крупных и даже средних городах Европы.

Польша и Варшава

Анджей, старший брат Юзефа, тоже собирал книги с ранней молодости. Рассказывают, что он не расставался с ними даже на охоте. Став епископом в 28 лет, он собрал все свои книги в огромном епископском дворце в Пултуске.

Перед отъездом в Европу Юзеф занимался подготовкой своей будущей библиотеки: его беспокоила судьба книг, хранившихся в неподходящих помещениях и недоступных ученым. К 1734 г. братья перевезли свои собрания в варшавский монастырь кармелиток, где часть книг, размещенных в кельях, съели крысы.

7 апреля 1736 г. Анджей Залуский купил в центре Варшавы дворец Даниловичей, думая о будущей библиотеке. В то время как его брат оставался в Европе, Анджей принял библиотеку покойного короля Яна III Собеского (800 томов), которая была ему завещана в 1740 году. Этот фонд стал главным сокровищем его собрания: в него входили некоторые книги, унаследованные от королей Сигизмунда Августа, Стефана Батория, Сигизмунда III, Владислава IV.

Подготовка к открытию библиотеки длилась десять лет — сначала из-за строительных работ во дворце, где планировалось разместить книги. В 1744 г. Юзеф Залуский основал Читательское товарищество с целью закупки и чтения книг. Литература могла поступать в библиотеку, лишь пройдя отбор, порученный членам товарищества.

В 1745 г. через газету «Курьер польский» братья Залуские призвали издателей присылать им новинки, чтобы создавать на их основе национальную библиографию.

«Civium in usus»

В конце концов библиотека «Civium in usus» — «Для пользования граждан» — была торжественно открыта 8 августа 1747 г., хотя после этого строительные работы продолжались еще 15 лет. В момент открытия библиотека насчитывала около 180 тысяч томов[1].

При входе, над порталом, были размещены надписи на латыни: «Молодым влечение», «Старым помощь», «Любопытным занятие», «Трудящимся отдохновение», «Ленивым зрелище», «Основателю славный памятник». Под этими надписями располагался герб Залуских с девизом «Sic vos, non vobis». Было предусмотрено открывать библиотеку «по понедельникам, средам и пятницам утром и вечером».

С самого начала библиотека работала по внутренним правилам, разработанным Анджеем Залуским. Некоторые правила, помимо своей регламентирующей роли, обладали педагогическим содержанием и учили, как следует вести себя в публичной библиотеке.

Библиотека Залуских позволяла читателям знакомиться с фондами на месте или брать книги на дом, в т.ч. и в провинцию, что было в те времена делом чрезвычайным (так библиотека стала предшественницей современного межбиблиотечного обмена).

Дворец Даниловичей и его собрания

С тех пор дворец Даниловичей стал непременной остановкой на пути всех образованных иностранцев, посещавших Польшу в последний период монархии. Оставленные ими подробные описания свидетельствуют об их восхищении собранием и организацией библиотеки.

Это был большой старинный дворец, в плане представляющий удлиненный четырехугольник, украшенный статуями. «Внутри, — говорит Жак Бернулли в своем рассказе о поездке в Польшу в 1778 г.,[2] — это большой лабиринт комнат, заполненных книгами, число которых достигает двухсот тысяч. Самый главный зал, пышно украшенный, содержит многочисленные французские сочинения — другие встречаются как исключение ввиду либо переплетов, либо содержащихся в них многочисленных гравюр. Этот зал, длинный, красивый и очень высокий, тоже украшен многочисленными статуями, которые знаменитые братья Залуские воздвигли в память об особо заслуженных и благородных людях своей страны. (...) Латинские книги на третьем этаже тоже занимают очень большой зал, весь заполненный полками, рядом с которым находится еще несколько комнат, переполненных книгами. Под самой крышей помещены дублеты польских книг; я сомневаюсь, однако, что там собраны все дублеты, так как учредители библиотеки иногда приобретали пять, шесть, а то и семь экземпляров этих «редких сочинений»».

Комплектование

В основе организации собрания Залуского были идеи Энциклопедии Дидро: представить совокупность человеческих знаний. Залуский хотел собрать все писаные тексты, так как «только потомки смогут судить о пользе некоторых печатных изданий и рукописей». При помощи прессы он с 1745 г. просил издателей присылать ему книги — «даже самые тонкие, ибо то, чего не использует один, другому может оказаться полезным».

Братья Залуские были первыми, кто поставил себе цель собирать все польские печатные издания. Это была огромная задача, если учесть, что типографии в Польше начали работать в 1473 г. (одними из первых в Европе, через три года после Парижа). С тех пор печатная продукция не переставала расти.

При этом известно, что польское собрание библиотеки Залуских в 1740 г. было так богато, что епископ-библиофил разыскивал только «забытых, неизвестных или утраченных» авторов.

Известно, что библиотека Залуских содержала брошюры и листки, что было редкостью, так как раньше библиотекари пренебрегали этим родом документов.

Братья не всегда были во всем согласны: старший упрекал младшего в склонности к несброшюрованным листам и брошюрам, «достойным хлама». На их месте он желал бы видеть в библиотеке «autores classicos et in biblioteca pernecessarios».

---

[1] Об открытии библиотеки см.: Radliński, Jakub Pawel, Corona urbis et orbis, gloria et gemma Regni Poloniae universitatis scientiarum, publica, amplissima, & celeberrima Bibliotheca Zalusciana ... illustrata... Cracovia, 1748. Экземпляр, сохранившийся в варшавской Национальной библиотеке.

[2] Bernouilli, Johann : Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Polen in der Jahren 1777 und 1778, Leipzig 1779-1780. По-польски: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Ed. Waclaw Zawadzki. Warszawa, 1963.

Издатели, научные общества и сами авторы охотно отвечали на призывы Залуских, которые продолжали рыться в польских и иностранных книжных лавках, следить за аукционами, покупая после смерти ученых их частные собрания.

В фонде варшавской Национальной библиотеки имеется, например, каталог аукциона берлинской фирмы «Милиус» (1767), тщательно откомментированный Залуским, и счет почти на 60 изданий.

Когда приобрести книгу было невозможно, Юзеф Залуский заказывал копию. (Магнаты использовали переписчиков: когда сочинение не пользовалось спросом, рентабельней было его переписать, чем издавать несколько экземпляров).

В конце своего существования библиотека удвоила свой фонд и насчитывала более 400 тыс. томов. Собрания, перевезенные в Санкт-Петербург, подсчитывались дважды (Богдановым в 1796 г. и Антоновским в 1806-м) и подтверждают эту статистику.

Научные дисциплины и их классификация

Юзеф Залуский классифицировал фонды библиотеки по главным дисциплинам, таким как богословие, философия, схоластика и история. Право и медицина не слишком его интересовали. Но Оленин, директор Санкт-Петербургской публичной библиотеки, описывал варшавскую библиотеку как «совершенно энциклопедическую», обладающую книгами по всем гуманитарным наукам и искусству. Самым многочисленными был раздел богословия, затем шли история и литература.

По некоторым источникам мы знаем, что книги были классифицированы вначале по языкам, затем по темам, затем по формату и в самом конце — по алфавиту.

Принципы тематической классификации, сформулированные Юзефом Залуским задолго до открытия библиотеки, продолжали действовать до 1787 года. Затем эта тематическая классификация была заменена систематической классификацией Конопчинского, которая имела пять групп знаний: религия, мысль, память, воображение, слово. Эта классификация действовала только семь лет.

Хранение

Источники содержат некоторые сведения о хранении собрания. Чтобы защитить книги от крыс, их складывали в сундуки и покупали кошку, которая могла свободно бродить по дворцу благодаря сделанным специально для нее отверстиям. Чтобы глобусы не пылились, их покрывали специальными чехлами. Во время реконструкции здания Анджей попросил Юзефа снести соседние сараи, чтобы «вокруг библиотеки светило солнце и веял ветер». Он попросил его также не размещать книги у стен, пока стены не просохли. Уже после смерти Залуских было приказано положить под настил пола строительный мусор, чтобы уменьшить сырость. Во дворе существовал навес, под которым книги сушили и вытрясали из них пыль. «Прогнившие или червивые книги», угрожавшие заразой другим, зарывали в землю (сжигать их было слишком опасно — могло вызвать пожар) или изолировали далеко от других.

Каталоги и обработка

Фонд библиотеки был описан в многочисленных рукописных и печатных каталогах. В течение XVIII века было составлено около ста рукописных каталогов отдельных фондов. В начале 1760 г., когда число каталогов превысило 50, был составлен их общий список, который затем был издан под названием «Cataloghi Bibliothecae meae inservientes» в «Bibliographie Zalusciana» Яноцкого (1763-1766). Этот список быстро устарел, так как новые каталоги составлялись безостановочно.

Помимо каталогов, на протяжении всего существования библиотеки составлялись путеводители или выборочные (рекомендательные) списки книг, начатые выпуском «Заглавий публичной библиотеки Залуских» и «Энциклопедической библиотеки лучших авторов по каждому предмету».

Обрабатывал книги в библиотеке главным образом Юзеф Залуский, который классифицировал их, ставя на титульном листе буквенно-цифровой код. Эти коды были чем-то вроде топографических отметок, позволявших разместить книги в определенном порядке и находить их на полках.

Залуский вел практическую работу по анализу документов: на титульных листах он подчеркивал элементы, необходимые для каталогизации, — фамилию автора, название, год издания; если эти данные отсутствовали, он добавлял название, составленное им самим по содержанию. Таким образом, он осуществлял настоящий библиографический контроль, в случае необходимости прибавляя коммента-

рии, дополняя сведения об авторе пропущенным именем, званием, сведениями о принадлежности к монашескому ордену, национальности и т.п. Очень часто, особенно в польских изданиях, он раскрывал авторство сочинений, изданных анонимно, под криптонимом или псевдонимом.

Иногда, особенно когда речь шла о ценных рукописях, он делал оценочные пометки. Редкие и ценные книги он помечал звездочками и словами «liber rarus», «perrarus» или «rarissimus».

Библиографическое и информационное обслуживание

Информационное обслуживание заграницы осуществлялось с помощью библиотечных публикаций (например, биобиблиографических словарей польских ученых), а также устных или письменных ответов на вопросы — настоящая информационная служба.

Многочисленные периодические издания (в большинстве своем на немецком языке, такие как «Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen», «Pommerische Nachrichten von Gelehrten Sachen», «Critische Nachrichten», «Nouvelle Bibliothèque Germanique» и «Schlesische Privilegierte Zeitung») публиковали сообщения о библиотеке Залуских и о науке в Польше. Идея такого обслуживания связана с контактами, которые Залуский установил в Лотарингии, — в частности, с Жаком Перарром (побывавшим в Щецине в 1742 г.), с которым он регулярно переписывался вплоть до Семилетней войны, информируя его об интеллектуальной жизни Речи Посполитой.

Регулярная информация о новинках в «Курьере польском» выполняла роль текущей польской библиографии. Книги, посланные Залускому, рецензировались в периодических изданиях, связанных с библиотекой. Информация о новинках должна была побудить издателей и авторов передавать экземпляры Залуским (сегодня это можно было бы назвать обратной связью). Новинки приходили из типографий всех городов Польши: Вильна, Львова, Люблина, Почаева, Супрасля, Замостья, Познани, Калиша и др., из научных обществ. Многочисленные писатели круга Залуских (такие как Радзивилл, Чарторыйский, Сапега, Антонина Замойская, литовские иезуиты, краковские кармелитки и др.) передавали в библиотеку часть своих собраний.

Сам Залуский служил польским библиофилам посредником при покупке иностранных книг, так как во времена Саксонской династии книготорговцы этим не занимались.

Другие собрания библиотеки

Библиотека располагала различными достопримечательностями.

Прежде всего здание библиотеки Залуских было известно варшавянам как «Дом под королями», поскольку его фасад был украшен бюстами польских монархов. Анджей Залуский купил их в 1746 г. у вдовы люблинского воеводы Станислава Хоментовского.

В специально выстроенной пристройке находилась галерея скульптуры и живописи. Там стояли другие бюсты королей и высокопоставленных лиц польского королевства. А многочисленные бюсты и барельефы с изображениями ученых украшали главный читальный зал.

В кабинете эстампов хранилось большое собрание гравюр, главным образом произведений виднейших европейских граверов XVI-XVII веков, — более 40 тыс. листов, из которых только 13,5 тысяч были возвращены Польше в межвоенный период. Это собрание, как и собрание медалей, начиналось в 1731 г. с закупок в Лейпциге. Годом позже Залуский писал в своей «Programma Litterarium»: «Я коллекционирую «numismata» точно так же, как польские или связанные с Польшей гравюры на меди».

Что касается карт и планов, то их собиранием заразил Юзефа Залуского живший в Гааге Брузен де ла Мартиньер. Залуский решил тогда купить в Амстердаме 60 гигантских карт, которые собирался развесить на стенах своих апартаментов. Он собрал внушительную коллекцию карт Польши, «как старинных, так и географических». Географическая коллекция должна была послужить составлению «Maximum Lexicon Universale Historico-Polonicum» — запланированного в 1732 г. большого словаря по истории Польши, который должен был включать главу, посвященную географии Польши. В конце концов Залуский выпустил по-польски сочинение «Польша в обширных своих сведениях сокращенная» — в первой его части, «Топографическом и гражданском описании Польши», содержалось описание карт страны, ее старинных местностей, рек, озер и гор.

Как будто всего этого было мало, в библиотеке был кабинет естественной истории с гербариями и прочими образцами «минерального, животного и растительного царства», а также кабинет математических инструментов — геометрических, физических и астрономических. Собранные главным обра-

зом Анджеем Залуским, эти коллекции не получили одобрения его брата, который стремился отнять занятые ими помещения и использовать их под книги. Однако инструменты оказались очень ценными для образования — в 1752 г. было предложено использовать их в школе военных инженеров.

Как только был куплен дворец, Анджей Залуский задумал устроить под крышей обсерваторию, и 6 июня 1761 г. «благородные дамы и кавалеры» под руководством получившего астрономическое образование священника-иезуита Лускины, владельца высококачественных астрономических инструментов, смогли наблюдать прохождение Венеры между Землей и Солнцем.

Персонал

Когда братья Залуские взялись за организацию публичной библиотеки, в их распоряжении были образцы зарубежных библиотек и многочисленные учебники. Поэтому как в установлении должностей и регламентации обязанностей библиотекарей, так и в требованиях к их профессиональной квалификации мы обнаруживаем принципы, применявшиеся в других европейских библиотеках.

В своих письмах младшему брату в 1748-1754 гг. Анджей Залуский неоднократно рекомендовал, чтобы у библиотекаря было два помощника. Управляющий библиотекой, чей пост был создан в 1751 г., назывался «префектом»; до этого библиотеку возглавляли «секретари коронного референдария». После смерти Юзефа Залуского (†1774) управляющие библиотекой стали называться «хранителями».

В 1746 г., когда собрание библиотеки достигло 180 тыс. томов, персонал оказался недостаточным; учитывая тот факт, что фонды росли быстрее, чем в любой из крупных европейских библиотек, накопились задержки в обработке книг. Например, в Императорской библиотеке в Вене, где книг было меньше, чем у Залуских, в 1774 г. работали 14 библиотекарей. В Варшаве их было в лучшем случае семь.

Юзеф Залуский был полиглотом и обладал феноменальной памятью. Он говорил: «Я знаю десять языков — латинский, польский, французский, итальянский, немецкий (...) я понимаю все английские, испанские, португальские, голландские и чешские книги. Один иностранный посланник сказал обо мне: «Епископ Залуский мог бы быть переводчиком при Вавилонской башне»». К этому списку необходимо добавить древнегреческий и древнееврейский. По отношению к библиотечному персоналу Залуские были очень требовательны, но в то же самое время заботились о том, чтобы их персонал совершенствовался за границей. Знание иностранных языков, ряда наук и античной литературы, сочинение стихов, музыкальная и художественная культура, хорошая память, открытый ум, профессиональные знания и готовность их пополнять — таковы были главные требуемые качества.

Самым видным сотрудником библиотеки был Яноцкий, проработавший в ней сорок лет. Юзеф Залуский привез его из Дрездена в 1745 году. В 1751 г. Анджей Залуский финансировал его пребывание в Дрездене, чтобы тот мог «стать совершенным библиотекарем». Позже Яноцкий написал биографию Юзефа Залуского и составил ряд библиографических трудов, посвященных фондам библиотеки.

Смерть Юзефа Залуского (1774) и судьба библиотеки в 1774-1795 гг.

В октябре 1767 г. Николай Репнин, русский посол в Польше, недовольный оппозицией и антирусскими тенденциями, приказал захватить нескольких членов Сената, в том числе Юзефа Залуского. Его держали пленником с 1767 по 1773 г., а на следующий год он скончался в Варшаве.

Тем не менее даже в условиях заключения Залуский развил исключительную интеллектуальную деятельность. Он писал и издавал литературные и научные произведения: историю своей семьи, библиографии и энциклопедии, но в то же время стихотворения, драмы и автобиографические рассказы. Из Калуги он продолжал управлять «своей» библиотекой: его заботой были ежедневные трудности вроде ремонта крыши, каталогизации, работы и поведения библиотекарей. Одному из них Залуский выговорил за случаи пьянства и призвал провинившегося энергичней участвовать в составлении каталогов. Главные рекомендации Залуского касались предупреждения пожаров: «Огонь, огонь, я его проклинаю, пожарные насосы должны быть всегда наготове и в рабочем состоянии». Он присматривал также за завершением мероприятий, начатых еще при нем. В письмах он просил оплачивать все счета корреспондентов, иностранных агентов и книготорговцев —из Амстердама, Берлина, Лейпцига, Вроцлава[3].

[3] Письма Залуского из Калуги анализируются в: S. Roszak. *Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej.* 1997, №4.

В письме королю Станиславу Августу, написанном в январе 1774 г., Залуский поддержал идею основать академию и выразил готовность навсегда уступить свою библиотеку, которая до этого перешла в руки иезуитов, обеспечивавших публичное пользование ее фондами. После смерти Юзефа Залуского библиотека по просьбе посетителей перешла под личное покровительство короля. Управлять ею Станислав Август поручил графу Игнатию Потоцкому вместе с Комиссией народного образования. Отныне библиотека зависела от этого национального учреждения.

Роль и влияние библиотеки

Многие вплоть наших дней недооценивали роль, которую библиотека Залуских сыграла в польской культурной и научной жизни. Она создала настоящую интеллектуальную среду, объединив вокруг себя не только ученых, но и всех, кого интересовала история Польши, ее литература и культура.

Благодаря многочисленным посланцам и иностранным корреспондентам библиотека создавала настоящие научные связи. Информационное агентство Антония Игнация Гибеса, основанное в 1740-х гг., просуществовало до 1756 года. Гибес получал в Варшаве научные новости и составлял о них сообщения, которые пересылал почтовыми лошадьми в провинцию; он обменивался публикациями и даже деньгами. Поэтому Залуский поручил ему управлять Научным товариществом — обществом, которое должно было поставлять «интересные сочинения, опубликованные в других странах». Книготорговец Михал Грёль держал картотеку адресов, торговых домов, журналов «Варшавские чрезвычайные новости», «Journal polonais» и библиотечных агентств, созданных не только в Польше, но и за границей. В 1764 г. Залуский поручил Грёлю аукционную продажу книг из библиотеки.

Благодаря Залуским в Польше распространилась идея общедоступной публичной библиотеки. С середины XVIII века многочисленные частные собрания магнатов (Радзивилла, Сапеги) превратились в публичные. В 1754 г. Сераковский передал коллегии иезуитов в Перемышле свою собственную библиотеку и согласился финансировать строительство библиотечного здания, а также оплачивать должность библиотекаря, при условии, что библиотека будет общедоступной. В 1781 г. король Станислав Август решил сделать свои книжные фонды доступными для всей Речи Посполитой. В 1790 г. декретом Комиссии народного образования было решено сделать общедоступными библиотеки университетов в Кракове и Вильне. Годом позже комиссия объявила, что в городах необходимо создавать публичные библиотеки. Кроме того, многочисленные церковные и академические библиотеки и архивные собрания магнатов брали себе образцом функционирование и устройство библиотеки Залуских.

Ученые, объединившиеся вокруг Залуских, своими публикациями, а также изучением документов и фондов библиотеки распространяли модернизацию образования. Учебные заведения приводили в порядок собственные фонды и использовали коллекции Залуских: математических и физических инструментов, глобусов и т.п. Многочисленны были школьные учебники, основанные на источниках библиотеки.

В течение двух десятков лет библиотека была центром культуры и научной мысли в весьма либеральном духе. После смерти Анджея Залуского управление библиотекой и контроль над ней осуществляли иезуиты. С их приходом Юзеф Залуский начал исключать из фондов некоторые опасные документы.

В трудах нашего современника Яна Козловского содержится впечатляющий перечень сфер деятельности библиотеки, которые повлияли на развитие науки в Польше. Необходимо подчеркнуть начинания библиотеки по созданию системы обязательного экземпляра, национальной библиографии, печатных и рукописных каталогов, а также ее издательскую и типографскую деятельность, розыски источников для польских и иностранных пользователей.

Разделение фондов

При жизни братьев Залуских некоторые книги были с их согласия отданы или проданы с аукциона. За полвека своего существования библиотека утратила ряд изданий, разрушенных сыростью или украденных. Эти потери можно оценить примерно в 15-20 тыс. томов.

То, что случилось дальше с этим собранием, его несчастная судьба — все это было в полном противоречии с завещанием Юзефа Залуского: «Запрещаю разделять, продавать и рассеивать мою библиотеку».

Собрание Залуских, «перевезенное» в Санкт-Петербург в 1795 г. как военный трофей, легло в основу Императорской Публичной библиотеки, открытой в 1814 году. Во время транспортировки, совершавшейся поэтапно, многие книги погибли или были рассеяны. По данным историка Иоахима Лелеве-

ля, книги Залуских «можно было покупать в Гродно корзинами» (в корзину входило примерно 60 томов). Кажется, ученым (Тадеушу Чацкому, Иоахиму Хрептовичу) удалось спасти от разграбления 30 тыс. томов.

В Санкт-Петербурге книги Залуских продолжали пропадать или рассеиваться. Тысячи книг сгнили в подвалах. Многие были проданы с аукциона; другие — разбросаны по разным российским библиотекам.

Некоторая часть фонда Залуских была возвращена в Польшу в три приема: в 1842, 1863 и — по условиям Рижского мирного договора с советской Россией (1921) — в 1923-1935 гг.

Трудно оценить точно, сколько книг было возвращено, так как вместе с ними возвращались книги и документы, ранее находившиеся в других польских собраниях. По оценке Я.Козловского, в общей сложности было возвращено около 50 тыс. книг Залуских.

Возвращенные книги из библиотеки Залуских стали основой польской Национальной библиотеки, учрежденной декретом президента от 24 февраля 1928 года.

Нацисты уничтожили в Польше около 16 млн. томов: 70-80% библиотек были сожжены специальными подразделениями, которым после Варшавского восстания была поставлена задача дотла разрушить польскую столицу. Так в октябре 1944 г. были уничтожены библиотека Красинских со всеми ее книгами и рукописями XV-XVIII веков и Рапперсвильское собрание — крупный фонд по истории страны, трудолюбиво накопленный польскими эмигрантами в Швейцарии и после провозглашения независимости (1918) перевезенный на родину[4].

Здание Библиотеки Залуских в наши дни

Фонды библиотеки Залуских, возвращенные Советским Союзом, подверглись той же участи в конце II Мировой войны. Около 170 тыс. томов Национальной библиотеки были перевезены тогда по приказу и под наблюдением немецких офицеров «в надежное место», но в октябре 1944 г., после Варшавского восстания, нацистские войска сожгли их. Таким образом, возвращенная часть собрания Залуских сгорела, к несчастью, почти полностью.

Некоторые сокровища чудом сохранились (например, «Рочник Свентокшиский»).

Время от времени документы из библиотеки Залуских, «Zalusciana», появляются на аукционах.

Источники реконструкции

В силу этой странной и трагической судьбы сегодня трудно восстановить полную картину собрания Залуских и функционирования библиотеки. Многие документы, переписка, архивные источники, каталоги и регистры навсегда утеряны. Тем не менее какой-то образ можно воссоздать благодаря вторичным документам, увековечившим ресурсы собрания, в том числе и те, что были представлены на выставке 1933 г. в Национальной библиотеке.

Сохранилась немалая часть переписки Юзефа Залуского, из которой пока опубликовано лишь немногое. Ян Козловский, польский историк науки и библиотек, автор фундаментального труда о библиотеке Залуских и их эпохе, сообщает, что в Варшаве сегодня хранится 8,5 тыс. писем. На письмах, адресованных Залускому, часто стоят его пометки, что позволяет получить некоторое представление о его откликах «по горячим следам», даже если его ответных писем намного меньше, чем полученных. Книга Козловского, где использованы многочисленные источники, рассеянные по Польше и по всей Европе, выпущена издательством варшавской Национальной библиотеки.

Текст представляет собой реферат доклада, сделанного на конференции ИФЛА в 2005 году. Автор приносит особую благодарность Яну Козловскому и Галине Тхоржевской-Кабата за сведения и документы.

Английский вариант этой статьи см. в Интернете: *http://www.fyifrance.com/f102005c.htm*

[4] Polastron, Lucien: Livres en feu. Histoire de la destruction sans fin des bibliothèques. Paris, 2004 (p.223-224)

Богдан Коженевский

Перевод
Натальи Горбаневской

КНИГИ И ЛЮДИ

(Отрывок из книги)

На главном входе в библиотеку дверь была сорвана с петель, дверные стекла выбиты. Закрыть ее было невозможно. Вестибюль и лестницу толстым слоем устилали книги, бумаги, мешки из-под цемента, газеты. Из этой помойки торчали носилки, на которых в августе лежали трупы с элегантно повязанными на шее носовыми платками. В них ходили, чтобы отличаться от других подразделений, солдаты из батальона уголовников, Diebs-, Mörders- und Verbrechtsbatalion, или DMVB, как они сами говорили с не лишенным гордости смехом. Они квартировали на территории университета с неделю, но уже в первый день превратили библиотеку в клоаку — в соответствии с оборотом, который употребляли чаще всего: «Alles Scheisse!» После каждой атаки на Повисле они возвращались с несколькими трупами и с немецкой любовью к порядку укладывали их рядком на первой лестничной площадке.

На складах библиотеки гудел, свистал, стонал ветер. Решетчатые полы складывались в какой-то огромный колосник фантастической протяженности. По всему зданию, лишившемуся окон, тянуло жутким холодом.

* * *

Этот холод, воистину пронизывавший до мозга костей, — самое сильное воспоминание, сохранившееся у меня с того времени. Мы оба с профессором Боровым защищались от него, забираясь на ночь в бумажные мешки, набитые газетами. У меня до сих пор стоит перед глазами Боровый: в мешке до подмышек, в шарфе, обернутом вокруг головы, как платок, в гарусных митенках, при мерцающем огоньке свечки он записывает события каждого дня. Мы рассказывали их друг другу по вечерам, прежде чем сказать «спокойной ночи». Эти записки сохранились в бумагах Борового после его смерти и позволят мне заполнить пробелы в памяти.

Например, пробел, который я, несмотря на все усилия, не могу наполнить жизнью, — о том, как мы оказались вместе. Не думаю, что я тогда оставался в библиотеке один. Такая ночь непременно запомнилась бы лучше, а это значит, что, собрав добрые вести, я вернулся в Прушков.

Вероятно, к этому обратному пути относится воспоминание о далекой перестрелке, сопровождавшей меня примерно от Жолибожа, пока я шел пешком.

С Боровым я, должно быть, встретился вскоре в Прушкове. В Варшаву мы шли вместе. Я — во второй раз. За это предположение, пожалуй, говорит то, что та же самая дорога выглядела по-другому. Белые поля не были такими пустыми, как в предыдущий раз. Время от времени нам попадались то мужчина с чемоданчиком, привязанным к спине, то стайки женщин с узелками и мешками. Все были закутаны в такое множество порыжелых тряпок, что с трудом можно было разглядеть кусочки красных от мороза, помятых лиц. Такие же бесформенные фигуры двигались по тропинкам по обе стороны дороги. Варшавяне возвращались в сожженный город. Это были первые малые ручейки той огромной волны, которая через несколько недель со всех сторон хлынула в столицу. В руинах улиц слышались голоса и оклики. На никуда не ведущих воротах появлялись выцарапанные гвоздем письма: «Мама, был тут, иду к дяде с тетей на Вятрачную. Эдек». Совершался факт, который разрушал все планы, сочиненные над картой. Варшава, перечеркнутая крестиком, навязывала политикам свою упрямую волю к выживанию.

Из нашего общего пребывания в библиотеке у меня в памяти осталась картинка, которая могла бы послужить иллюстрацией к истории польской литературы. Ее история — как, может быть, ни одной другой — полна таких событий. Вацлав Боровый присел на корточки в библиотечной прихожей и отмороженными руками в тех самых гарусных ми-

тенках начал разгребать затоптанный слой бумаг. И вдруг встал с озарившей лицо улыбкой, такой для него характерной, — в этой улыбке всегда было что-то стыдливое, а что-то — ироническое.

— Посмотрите, — сказал он, — хаос в Польше заполняет наше отсутствие постоянной энергии и извлекает из забвения ценные вещи, — он подал мне школьную общую тетрадь. Это был черновик «Греха» Жеромского.

Когда это произошло? Сразу, как мы пришли, или позже? Кажется, это было, кода мы только-только добрались до библиотеки, потому что Боровый с первой минуты занялся приведением в порядок книг, разбросанных по первому этажу, и несколько первых дней занимался этим с рассвета до сумерек.

На меня пали хозяйственные обязанности. Среди всякого лома в котельной я нашел цепь и замок и запер вывороченную дверь главного входа. Повесил на нее картонку с надписью большими кривоватыми буквами по-русски: «Государственная библиотека Варшавского университета». Привел в рабочее состояние буржуйку, которая грела нас на протяжении недель. В Большой аудитории обнаружились огромные кучи угля, что помогало не замерзнуть. В комнатке при вестибюле я устроил из газет две постели...

Однако прежде всего мне пришлось заняться выпроваживанием гостей. Через Варшаву шли последние фронтовые части. На Краковском Предместье гремели повозки, запряженные косматыми сибирскими лошадками. Когда они останавливались, возницы заходили в библиотеку. Многолетний военный опыт научил их избегать главного входа, где отпугивала официальная надпись. Они безошибочно находили другой вход. Решетка в окне первого этажа, в каменной нише, была выломана. Я много раз затягивал отверстие колючей проволокой, но это не помогало. Несколько раз в день нас отрывали от работы тревожившие отзвуки из глубины библиотеки.

— У вас снова посетители, — улыбался Боровый, — надо бы ими заняться. Если будут трудности с оказанием гостям почестей, пожалуйста, позовите меня.

Один-единственный раз дело приняло оборот поопаснее. Во время обеденного перерыва, когда мы доедали остатки хлеба из запасов Борового, мы услышали громкий, непринужденный разговор. На складе я застал группу офицеров, которые вошли все тем же боковым солдатским ходом. Светя зажженными листами бумаги, они скидывали книги с полок, проверяя, не спрятано ли чего за ними. На мое замечание самый молодой по званию, лейтенант в лихо надетой набекрень фуражке, подскочил ко мне с криком:

— А ты тут кто такой нашелся, чтобы нас учить, а?

Я ответил, что я библиотекарь.

— А документы есть? Покажи!

Документов у меня не было.

— Тогда ты никакой не библиотекарь, а диверсант. Пробрался в библиотеку, чтоб ее поджечь. О, видишь эту бумагу? Мы ее только что погасили. Еще дымит — изловили тебя на месте преступления! С делом тянуть не будем...

Но другой офицер оттащил его.

— Ну что ты так разошелся, Коля? Хватит.

Он спросил меня, не найдется ли где-нибудь нескольких пачек тонкой бумаги, лучше всего папиросной, на самокрутки.

— Вы нам только одолжите, библиотекарь, — улыбнулся он, — мы, честное слово, отдадим, когда будем возвращаться. Из Берлина же дорога идет через Варшаву.

Я нашел несколько пачек бумаги для машинки, и мы расстались с дружелюбным похлопыванием по спине. По моей спине, конечно.

Обвинение в диверсии было не только проявлением фантазии молодого офицера. Варшава, много недель оледенелая, только начинала снова дымить. В зданиях, уцелевших лишь потому, что они были нужны немецкому гарнизону города-крепости, вновь разгорались пожары. Вблизи библиотеки языки пламени, почти солнечные в хорошую погоду, несколько часов лизали второй этаж «дома без граней» на углу Королевской улицы. Подальше дым окутывал колокольню костела бернардинцев на Новом Съезде.

От кого-то из офицеров, заглядывавших в библиотеку, мы узнали, что это дожигание развалин официально приписывали повстанцам. В подвалах и ходах канализации якобы скрывались «отряды поджигателей», чтобы окончательно довершить разрушение города.

Вероятно, в отделах пропаганды не забыли про пожар, уничтоживший Москву при нашествии Наполеона, и теперь ссылались на этот исторический опыт невзирая на результаты. Может, вообще не принимая их во внимание.

В пропагандистских мероприятиях тех времен поражало совершенное равнодушие к массовым чувствам. Пропаганда не использовала ни одного из средств агитации. Никого не хотела убеждать и завоевывать. Действовала в полном общественном вакууме. Скорее всего, она желала удовлетворить тех, кто вызвал ее к жизни и надзирал за ней, то есть людей, которые по природе своих должностей были уже достаточно убежденными. Она напоминала машину, сконструированную не затем, чтобы что-то производить, а просто для того, чтобы самим движением колесиков, шестеренок и приводных ремней свидетельствовать о могуществе механизации.

Такой структурой пропаганды можно было объяснить ее деятельность во взятой Варшаве.

Несколько первых дней я много ходил по ближайшим улицам, обходя минные ловушки. Я хотел осознать размеры разрушений. Во время одной из таких прогулок я натолкнулся на проявления активности пропагандистов. На обожженных стенах, вблизи баррикад, угловатой формы которых время еще не сгладило, были расклеены плакаты. На плакатах был нарисован уродливый гном — с повстанческой повязкой на руке. Надпись сообщала, что это «заплеванный карлик реакции». Рисунок был выдержан в том дешевом стиле, каким пользуются бульварные газеты. Было в нем что-то от иллюстраций к сказкам братьев Гримм. Они, видимо, открыли секрет вульгарного воображения, так что искусство, обращенное к массам, часто их напоминает. Особенно тогда, когда массам приписывают страсти, лишенные благородства.

* * *

Вскоре после прибытия я пошел в библиотеку Красинских на Окольник. Меня позвал туда на совещание доцент Юлиан Пуликовский. В каком-то закутке, хорошо скрытом от человеческого любопытства, он сказал мне, что, по его сведениям, Варшава включена в план «выжженной земли».

— Приказ с самого верху, вы понимаете, — объяснял он. — С особой решительностью, можно даже сказать, яростью, приказано перед отступлением не оставить от города камня на камне. Приказ будет — вы знаете немецкую скрупулезность — выполнен совершенно точно. В связи с этим следовало бы подумать, как защитить от уничтожения воистину бесценные собрания. У Красинских же собрано все, что дала польская культура в течение веков. Притом это неизвестные сокровища, так как хотя бы библиотеку Залуских, которую Польше вернули после Рижского договора, не успели привести хоть в какой-то порядок. То же можно сказать и о театральном отделе. Я знаю, как он близок вашему сердцу, — сказал он, — давайте вместе решим, что с ним сделать?

У меня не было причин не верить Пуликовскому. Он наверняка был хорошо информирован. С немцами он встречался часто, даже поддерживал с ними светские отношения. Вероятно, он не мог поступать иначе ввиду особых обстоятельства, в которых он оказался после нашего поражения в войне. В Польшу он приехал за несколько лет до войны прямо из Берлина. Рос в Германии. По-польски говорил правильно, но слегка искусственно и с тем твердым акцентом, за которым стоит прусский диалект немецкого. Большую квадратную голову он стриг почти наголо, только наверху оставлял ежик, как это было в моде у немецких юнкеров, что напоминало подбритые чубы польской шляхты. От маршала Гинденбурга такую прическу переняли в гитлеровские времена офицеры СС и гестапо начиная с Гиммлера и Гейдриха. Видно, они считали, что это придает им породистый солдатский вид.

Из Берлина Пуликовский привез жену-немку, которая в Варшаве едва начала говорить по-польски. В семье, где было двое детей, говорили по-немецки. Операция по возвращению Тысячелетнему Рейху утраченных германцев поставила Пуликовского в очень трудное положение. Принимая их заново в лоно германщины, действовали

весьма грубо. Судьбы епископов евангелической Церкви могут здесь послужить грозным предостережением. Поэтому никто не удивился, когда семья Пуликовского получила документы «рейхсдойчей». Да он этого и не скрывал.

Зато трудно было узнать, как идут дела у него самого. Он был вхож в кабинеты гитлеровского начальства и, когда к нему обращались за помощью в случае крайней необходимости, предпринимал действия, отлично разбираясь в оккупационной бюрократической машине. Например, он ходатайствовал о моем освобождения из Освенцима. Вероятно, его стараниям я обязан выходом из лагеря, что — особенно в первый период уничтожения интеллигенции, еще безнаказанного, — выглядело почти чудом. После вступления немецких войск он не надел черный мундир с партийной повязкой на рукаве, как его коллега по Варшавскому университету, ассистент профессора Лемпицкого Грундман. И не переехал в немецкий квартал под охрану жандармерии.

Он выбрал ненадежную судьбу поляков. Тем более нелегкую, что он не пользовался благами духовного порядка, которыми щедро наслаждалось общество тех времен в виде неустанного и всеобщего заговора против оккупантов. У него не было доступа к секретам, объединявшим — как всегда во времена поражения — граждан подпольного государства. Если он сохранил себя как поляка, то платил за это высокую цену. И умел платить. Он не пытался преодолеть недоверие. Не замечал, что при его появлении разговоры совершенно меняли оборот, а подпольные бюллетени и листовки исчезали в груде бумаг. Он не заговаривал о событиях войны, так как предвидел, что те, к кому он обратится, будут высказывать официальные мнения. И по сути дела был одинок. Может быть, это горькое чувство одиночества было последним сознательным состоянием, которое он испытал, когда умирал от немецкого снаряда, копая стрелковые окопы на Жолибоже.

Тогда, встретившись в библиотеке Красинских, мы решили по крайней мере затруднить сожжение театрального собрания. Мы выбрали в подземельях библиотеки погреб, заканчивавшийся глухой стеной. Бесценные экземпляры, еще с собственноручными пометками Войцеха Богуславского, и столь же редкие тома переплетенных афиш мы сложили тесно — до самого закругляющегося потолка. Мы предполагали, что даже при пожаре здания так стиснутые документы уцелеют. Бумага, как известно, горит не так-то легко. Вход в погреб мы закрыли листами жести и мешками с песком. Чтоб никто ни о чем не догадался, перед дверью набросали какую-то рухлядь.

Поэтому, когда теперь, войдя в развалины на Окольнике, я увидел, что сквозь пустые окна в обожженных стенах библиотеки просвечивает небо, я еще не потерял надежду. Грубые вертхеймовские перекрытия могли не только выдержать тяжесть обваливающихся этажей, но и защитить собрание от жара. В скольких варшавских доходных домах сохранились спрятанные ценности, хотя сами дома обратились в пепелище!

Спуск в подземелье не был завален, и я добрался до погреба. На первый взгляд можно было испытать ошеломительную радость. Ну да, — хотелось крикнуть, — собрание уцелело! Оно лежало толстыми ровными слоями. Поражал даже какой-то порядок, которого мы не оставили, маскируя убежище. Не было ни листов жести, ни мешков с песком Обращал внимание и не такой высокий уровень сложенных кип. Тома уже не прилегали друг к другу так плотно, как тогда, когда мы их складывали.

Подойдя поближе, можно было открыть секрет этих перемен. Он был отвратителен. При прикосновении слои ровно сложенных экземпляров даже не распадались, а исчезали. Они до конца истлели в огне, который, видимо, медленно уничтожал их на протяжении многих дней. Нетрудно было догадаться, как их уничтожили. Члены Brennkommando, или Vernichtungskommando, или как там еще назывались эти организации государства извергов, несомненно обладали большим профессиональным опытом. В побежденной Варшаве у них не было недостатка и во времени на выполнение работы. Они вытащили книги из под перекрытия, облили их бензином и подожгли...

* * *

Я не смог бы сказать, какого числа официальный порядок добрался до университета и положил конец нашей самозваной деятельности. Должно быть, это произошло недели через две, так как в моих воспоминаниях об этом дне фигурирует про-

фессор Казимеж Михаловский. Множество складок на потертом офицерском мундире свидетельствовало, что пища военнопленных не содержала откормочных средств. В библиотеку он прибыл прямо из лагеря для военнопленных офицеров. Вот он сидит за столом в нашей комнатке, превращенной в столовую, и глядит с безмерным изумлением. Картины той Варшавы, которую он пять лагерных лет созерцал в воображении, и той, которую он застал, еще расщеплены. Состояние неописуемого ужаса, какой испытываешь при раздвоении личности.

Еще два гостя, которых мы угощаем чаем в фаянсовых кружках, — это Влодзимеж Антонович и Адам Левак. В сентябре 1939 года один был ректором университета, второй — директором университетской библиотеки. До нового распоряжения они представляют легальные власти. И на них с этого момента ложатся обязанности и труды хозяев в этом анклаве, состоящем из нескольких целых зданий среди моря развалин.

Мы могли вернуться к нашим занятиям. Профессор Боровый — к наведению порядка у себя, в не тронутом войной Залесье, к накопившимся записям. Он, как оказалось, записал историю некоторых дней с такой образцовой дисциплиной пера, на какую способны только люди, воспитанные в жестких правилах латинской культуры. Его записи прекрасно помогают устанавливать надлежащие пропорции между пишущим и миром. А я мог заняться тем, что стало, можно сказать, моей второй профессией в те времена, т.е. вернуться к перевозке книг.

На протяжении нескольких лет оккупации я как сотрудник Варшавского университета ходил с командой из пяти складских рабочих и ручной тележкой по варшавским улицам, чтобы из квартир, откуда гестапо вывезло людей и мебель, собирать брошенные книги. Тогдашний владыка всех варшавских публичных библиотек, маленький перепуганный немец доктор Витте, не скрывал радости, когда я подсунул ему идею взять под свою опеку книжные собрания расстрелянных. Он ухватился за эту мысль с энергией безумца и немедленно добился от гестапо передачи книг. Ибо он жил, как все чиновники Генерал-губернаторства, в вечном страхе перед повесткой, которая позволила бы ему лично участвовать в расширении границ германской империи до хребтов Кавказа. Чтобы обеспечить себе не столь мучительное занятие, он прибегал к методам, издавна использовавшихся с большим успехом бюрократами всех мастей. Под видом наведения порядка он старался натворить как можно больше беспорядка. Все время поручал перевозить книги из одного здания в другое. Подчиненные ему библиотеки подвергались постоянной реорганизации.

Проект увеличения библиотечных запасов на новые сотни книг был дан ему как с неба. Оттуда педантичный немецкий Бог грозил ему перстом, выглядывая из-за стопки реестров. «Не поедешь, мой Витте, — как будто говорил он, — товарным эшелоном на восток, пока не наведешь порядок, наш порядок, в этих миллионах польских книг, которые история отдала в твои руки».

В самом деле, как же мог Bibliotheksrat Витте взять в руки винтовку, когда во вверенных ему в качестве военных трофеев памятниках польской культуры царил невообразимый хаос и никто не мог разобраться, какие из этих памятников надо уничтожить так старательно, чтобы и следа от них не осталось, а какие отложить для немецких историков, чтобы дать им доказательство недоразвитой цивилизации славян? И вот колонки цифр в самых разных комбинациях скакали с листа на лист, показатели росли, отчеты достигали метафизической нечленораздельности, и доктор Витте, партайгеноссе Национал-социалистической немецкой рабочей партии, не скрючивался в воронке от снаряда во время ураганного артиллерийского огня, а сидел запершись в директорском кабинете и в поте лица усложнял отчеты. Привозимые мною «поступления» прекрасно облегчали его задачу. Они служили ему камнями, которые бросаешь в грязный пруд, чтобы ил не оседал.

В таких условиях мы с доктором Витте могли смотреть друг другу в глаза с выражением глубокой заботы о книге, общем достоянии человечества. В его взгляде ни разу не промелькнула искра интереса к тому, чего это поляки проявляют такую особую заботу о книгах, оставшихся от выдающихся деятелей подпольного движения. Не пытался он и обнаружить связь между привозимыми книгами и предложением ввести ночные дежурства библиотекарей в связи со все более частыми советскими авианалетами. Наверное, он уже давно усвоил урок, который дают тревожные времена: на опасных постах лучше зажмуривать газа,

когда лично тебе грозит опасность. Ввиду этого ему не могло даже прийти в голову — в этом я был уверен, — что гестапо вместе с книгами арестованных возвращало в польские руки спрятанные между страницами архивы.

Хорошо помню несколько занятых работой ночей, которые я провел, извлекая из гербариев, привезенных из квартиры казненного в тюрьме Павяк секретаря Командования гражданской борьбы доцента-ботаника Вишневского, сотни листочков папиросной бумаги. Это был двухлетний архив его организации. Просматривая документы, я каменел при мысли, что бы случилось, если бы какой-нибудь гестаповец питал природоведческие интересы или если бы Вишневский под пыткой выдал, где спрятаны документы. Листочки содержали перечни диверсионных актов с именами исполнителей, давали структуру тайных судов, указывали узловые точки армейской сети, раскрывали шифры, регистрировали адреса явочных квартир и укрывищ.

В безжалостной борьбе, которую вели не только с оружием в руках, книги тоже ставились конспираторами. Часто они вели двойную жизнь, как и многие люди, и потому разделяли судьбу многих людей. Война выгоняла их с полок, как людей из квартир. Что бы ни сказать плохого о человечестве в наше время (а его можно упрекнуть во многом), при вынесении приговора смягчающим обстоятельством должен стать тот факт, что переселению народов Нового времени, народов, согнанных со своего места пароксизмами цивилизации, сопутствовали книги. Варшавские книги, кроме локальных движений, пережили две таких великих миграции.

* * *

Первая, как известно, совершилась после капитуляции восстания. Договор о капитуляции позволял спасти от тотального уничтожения, ожидавшего город, частичку памятников из публичных собраний. В течение нескольких недель, когда по обе стороны Вислы застыли в морозной тишине две гигантские армии, нескольким десяткам людей было поручено выбрать из безмерных сокровищ то, что могло послужить легитимацией польской культуры в послевоенном мире. Задача перерастала силы той горстки интеллигентов, которых после поражения восстания Станислав Лоренц отыскал в окрестностях Варшавы и бросил на спасение сокровищ с яростью отчаяния. Все отдавали себе отчет в том, что всё, что им удастся спасти, будет буквально каплей в море. Однако иногда и капля позволяет выжить. И вот каждое утро сотрудники музеев, архивов и библиотек собирались на маленькой площади в Прушкове, ехали в Варшаву и здесь, в промерзлых зданиях, совершали драматический выбор.

***Богдан Коженевский** (1905-1992) — историк театра, режиссер. До войны занимался организацией театрального отдела варшавской Национальной библиотеки, преподавал в Государственном институте театрального искусства, писал рецензии. Во время оккупации работал в библиотеке Варшавского университета. Был членом Армии Крайовой, принимал участие в подпольном издательском движении, входил в состав Тайного театрального совета. После Варшавского восстания принимал участие в спасении собраний варшавских библиотек. В 1945-1975 гг. преподавал в Государственном высшем театральном училище (сначала в Лодзи, потом в Варшаве), возглавлял режиссерский факультет. Был редактором ежеквартального журнала «Паментник театральный» («Театральные записки»). С 1948 г. занимался режиссурой. Издал несколько работ по театроведению, сборники статей и рецензий. Очерк «Книги», отрывок из которого мы публикуем, впервые был напечатан в сборнике «Книги и люди», выпущенным подпольно в 1989 г. издательством НОВА.*

Петр Матывецкий

Перевод Тимофея Дзядко

СТАРЫЙ ДОМ

Отрывок из будущей книги

«Старый дом» — когда строили новую библиотеку в Повисле, так стали называть характерную постройку посредине университетского двора. Это был памятник и мастерская культурной и научной работы, шедшей почти 200 лет непрерывно. Дом построили в 1891 г., а книги, собранные намного раньше и служившие университету с 1817 г., перенесли из Казимировского замка. Даже во время II Мировой войны здесь выдавали книги студентам подпольного университета, хранили документы и журналы движения сопротивления, боролись против уничтожения библиотечных собраний.

И все это исчезло. Осталась лишь архитектурная скорлупа, как раз сейчас переделываемая под аудитории. При всем уважении к новой, удобной и кипящей жизнью библиотеке на Доброй — что-то ценное пропало во время этого переезда.

В старых библиотечных зданиях хранятся не только книжные собрания. Дому в университетском дворе едва сто лет, но все-таки его интерьер передавал атмосферу глубокого прошлого. Потому что в нем удивительно сконденсировалось время — время культуры, материализованное в книгах и своей аурой наполняющее читальню.

На протяжении многих лет я там работал, исходил километры складских коридоров, битком набитых книгами и журналами, дежурил в читальном зале в неповторимой тишине, полной голосов разума. Работавшие там люди — библиотекари и читатели — были связаны самыми прекрасными узами дружбы с реальными людьми и героями книг, живущими в памяти и в воображении.

Rys. Dymitr Kismielow

Оглядываясь назад

Я входил в большой зал, когда еще не было семи утра. Оставалась четверть часа до начала работы, я садился с кружкой чая на место дежурного библиотекаря и осматривался вокруг, вдыхая воздух читальни, застывший под неподвижными, уже месяц не работающими часами. На полках слева стояли энциклопедии, а справа — языковые и биографические словари. А напротив, в большом балконном окне, виднелись здания, окружавшие университетский двор, которые составляли прямую перспективу, как на гравюре.

Это была мимолетная, ничем не нарушаемая атмосфера, которая меня успокаивала. Но только на мгновение.

За спиной открывались двери хранилища, колоссальной пропасти, и мой коллега вталкивал в читальню несколько тележек с грудами книг и журналов. После чего в течение часа я раскладывал эти тяжести по полкам — очень много весит подшивка ежедневной газеты за год.

Следующий час был посвящен упорядочиванию ходовых книг, выравниванию «в линейку» их сбившихся рядов, поиску и возвращению на свои места переставленных, отбору тех, что распадаются и должны быть отданы в переплет. Ну и разговорами с коллегами, занятыми тем же делом. Мы говорили громко, даже кричали «про запас», потому что уже вскоре придется говорить шепотом, чтобы не мешать читателям. Сейчас, когда я уже столько лет там не работаю, мне вспоминается, что те непосредственные разговорчики, обычно пустяковые, даже шутливые, а иногда и серьезные, всегда велись с ка-

ким-то неуловимым смущением — перед лицом тысяч книг и миллиардов аккуратно сочиненных предложений, мастерски составленных по законам словесности и расставленных на полки по библиотечным правилам.

В девять часов появлялись первые читатели. Они входили в пространство, распланированное не только архитектурно, но и в соответствии с определенной классификацией идей: книги были расставлены по тематическим разделам, мудро подсказывавшим такую, а не иную структуру вселенной человеческой мысли. Эта расстановка гуманитарных знаний по областям в читальном зале была делом его хранительницы Марии Тщинской. Постоянные посетители протоптали свои тропинки между полками, переходя от философии к психологии, от социологии к истории искусства, чертя путь мысли и дорогу собственных тел. Они воистину плотью одевали свои умы. Такие умственные и психофизические навыки закрепляются глубоко в подсознании. Ненавязчивым, но сильным и неожиданным было воздействие пани Марии Тщинской на целые поколения гуманитариев!

Читатели приходили самые разные

Больше всего было студентов, читавших «то, что задано». После чтения они возвращали учебники, некоторые главы которых были грязными от тысяч пальцев, а другие — девственно чистыми: так можно было распознать следы научных мод. И это было наглядным доказательством, как механически мелет мельница дидактики: ежегодно в то же самое время те же самые знания оседали в головах все новых поколений. (Здесь я вспоминаю времена ПНР, когда консерватизм в этой области преобладал.)

К счастью, многие студенты пускались в свободные, самостоятельные книжные путешествия. Ненасытность некоторых вызывала восхищение: как будто за короткое время они хотели узнать все обо всем. Но поскольку часто их любопытство опережало разум, то можно было опасаться, что полученные ими знания в дальнейшем будут спокойно сохраняться на протяжении многих лет и обратятся в мудрость.

Основными посетителями читального зала были историки. Они переворачивали огромные полотнища старых газет, часто не замечая, как осыпается на пол хрупкая, пожелтевшая бумага и как затаптываются обрывки важных сведений. Экономя время, эти опытные исследователи старались останавливать взгляд только на тех местах газеты, где находили что-нибудь пригодное для своей «темы». Но взгляд, к счастью, не всегда бывает послушным: он гуляет там и сям, вылавливая курьезное, смешное, особенное. Сама эта прогулка взбунтовавшегося взгляда становится неотвязной привычкой, которая приковывает к старой периодике. Постоянным посетителем был профессор Здислав Кметик, историк польской прессы XIX века. Он сделал это иррациональное увлечение своей научной специальностью: весьма педантично подходя к тому, что публиковал, он только перед библиотекарями обнаруживал свои эмоции искателя, который день за днем погружался в громадные тома подшивок.

А иногда читальню посещал кто-нибудь, кто, не будучи ни ученым-историком, ни даже историком-любителем, просто испытал соблазн воспоминаний: не ища никаких конкретных сведений многолетней давности, он хотел увидеть ту эпоху; если ему не удавалось вызвать в памяти всю свою прежнюю частную жизнь, то он хотел хотя бы погрузиться в сохраненную атмосферу общественной жизни. Такие бескорыстные читатели, листая старые журналы, просматривали время. Никогда не забуду улыбки, блуждавшей по их лицам между меланхоличными кивками — так, мол, когда-то было, такие царили настроения в обществе — и внезапным открытием какого-то факта, который некогда значил для них что-то особенное, но которого они уже не помнили. Они застывали над газетами на несколько часов, поэтому удивительная их мимика осталась у меня в памяти как необыкновенная маска времени.

Многие читатели искали какие-то конкретные сведения, бегали вдоль полок от энциклопедии к энциклопедии, становясь все нетерпеливей, если ничего не находили. Но были среди них и профессионалы — методично работавшие авторы комментариев, редакторы указателей, искавшие имена к фамилиям или составлявшие собственные энциклопедии. Мне запомнился Анджей Соболь-Юрчиковский, вдохновенный мученик переводов Борхеса, который считал делом чести расшифровать каждую аллюзию в эрудированных сочинениях этого писателя. Действие многих рассказов Борхеса разворачивалось среди библиотечных аксессуаров — наблюдая хлопоты Соболя-Юрчиковского, я подумал, что вымышленные библиотеки Борхеса, описанные в его но-

веллах, воплотились в реальной библиотеке, на тысячи километров отстоящей в пространстве, на многие годы — во времени.

Особым читателем энциклопедий был великий историк античной философии профессор Адам Крокевич. Он прославился как необычайно самостоятельный мыслитель, к каждому предложению у предшественников Сократа присматривавшийся так, будто оно появилось впервые, будто за века не обросло тысячами комментариев. Почему же, удивлялся я, он берет только английские философские энциклопедии? Зачем ему эти знания из вторых рук? Однажды я понял, зачем. Он читал статьи в энциклопедии как вспомогательные атласы, как карты мысли, не только дающие дилетантам предварительные сведения, но и позволяющие его собственным, более глубоким знаниям ориентироваться в пространстве массового мышления! Эти размышления позволили мне ценить только такие энциклопедии, которые не представляют собой свалку фактов.

Появлялись и одноразовые посетители. Уже с порога было видно, что это эмигранты, которые много лет спустя навестили родину и пришли восстанавливать свою генеалогию по гербовникам. (Времена, когда это стало страстью многих граждан ПНР, наступили позже.) Случалось, что разочаровавшись и не найдя именитых родоначальников, они разражались оскорблениями, подозревая, что даже старинные издания гербовников каким-то чудом подделаны «коммуняками»...

А еще помню, как однажды молодой человек привел свою бабушку, которая смутно помнила, что в какой-то газете перед войной было помещено объявление о большом наследстве из-за границы — на ее родовую фамилию. Оба, бабушка и внучек, просидели за столом в читальном зале несколько месяцев, наугад просматривая подшивки. И, разумеется, ничего не нашли.

Трогательнее всех были случайные читатели, просившие книги, о которых где-то услышали, что там якобы содержатся мемуарные сведения о них самих или об их близких. Уклониться от разговора с ними было невозможно: они подходили к библиотекарю, будучи не в силах держать при себе свои книжные, а заодно и семейные открытия, должны были тотчас с кем-нибудь поделиться, и приходилось выслушивать много необычайных историй. Читальный зал превращался в актовый зал, где удостоверялась чья-то судьба, и нотариусом этой судьбы становился не только библиотекарь, но и весь мир книг вокруг.

Воскрешение автора

Иногда появлялись люди, желавшие пожертвовать — не продать! — библиотеке какие-нибудь книги из своего собрания, по их мнению ценные. Уверенные в уникальности предлагаемой в дар книги, они со смущением узнавали, что она хранится в библиотеке в нескольких экземплярах, а потому не нужна. «Как это, такая старая книга — и лишняя?» — разочарование и обида отражались на их лицах, и становилось очевидным, как далеко мы зашли в варварский мир новизны, раз пренебрегаем столетней книгой, которая у них в доме была окружена ореолом старины.

Это напоминает шок, который испытывал читатель, когда из хранилища ему приносили экземпляр с неразрезанными страницами! Перед выдачей книги на руки библиотекарь тряпкой стирал толстый слой столетней пыли. А уж если дело касалось действительно редкой книги, читатель мог испытать чувство, что он, возможно, первый, кто ее раскрыл. И вот исчезало долгое время от написания произведения до момента, когда кто-то начинал его читать. В эту секунду можно было наблюдать, как сто лет спустя автор воскресал из небытия.

Над читальным залом видна была окружающая его галерея с каталогами. Из-за перегородки, от

ящиков с картонными карточками, время от времени поднимались головы и с интересом смотрели вниз, присматривая места за столами, где они через мгновение предадутся чтению книг, выбранных из каталога. А ведь можно было зачитаться самими каталогами! Встречались каталожные карточки, написанные от руки библиотекарями в начале XIX века, с порыжевшими чернилами. Если на карточке содержалось описание многотомных сочинений, издававшихся с перерывами, можно было проследить меняющийся характер письма, разные каллиграфические стили. Попадались карточки, написанные кириллицей во времена русского владычества, карточки, напечатанные на пишущих машинках в межвоенное двадцатилетие, были и те ужасные, времен гитлеровской оккупации, с надписью «Staatsbibliothek Warschau». Продираться через эти геологические пласты истории, сжатые в каталогах, само по себе было приключением.

Особым счастьем была возможность рыться в предметном каталоге. Головокружительной была магия его творческого беспорядка — говоря это, я умоляю простить меня моих коллег, которые с огромным усердием, талантом и профессионализмом составляли тематические разделы этого каталога, придерживаясь научных критериев. Но ни с чем не сравнить те необыкновенные моменты, когда из-за какой-нибудь мелкой ошибки в тематической классификации рядом оказывались совершенно разные книги, а их неожиданное сочетание все-таки подталкивало гуманитария к головокружительным открытиям!

В библиотеку врывалась история наших дней, суровая, жестокая, политическая. Здесь ограничусь лишь несколькими фактами послевоенного времени.

В сталинскую эпоху роль библиотекаря понималась специфически. Министерство высшего образования и науки в мае 1951 г. специальным письмом предупреждало:

«Напоминаем о необходимости усилить идеологическую бдительность библиотекарей и следовать правилу: «надлежащая книга для надлежащего читателя». Любые упоминания запрещенных книг носят только ориентировочный характер. (...) В целях практического осуществления вышеуказанных предписаний министерство предлагает два способа: 1. Ввести контроль заказов. 2. Предоставлять читателям в свободное пользование только большой «выборочный каталог»».

Вначале запреты касались большой части литературы до 1945 года и почти всей иностранной литературы. Позже, после 1956-го, ограничения налагались прежде всего на эмигрантские сочинения во главе с публикациями парижской «Культуры». Библиотекари, сочувствовавшие читателям, творили чудеса, чтобы как-нибудь обойти эти запреты, но за ними следили агенты соответствующих органов.

В 1968 г. библиотека стала прекрасным алиби для студентов, репрессированных после демонстрации 8 марта: мы подделывали их записи в учетной книге читального зала, чтобы создать видимость, будто во время демонстрации они были в библиотеке.

Переломным моментом для книжных запретов был август 80-го: первым рывком к свободе в университетской библиотеке стала демонстративная отмена всех ограничений. Такое решение было принято стихийно, вопреки министерским властям. Библиотека тотчас стала местом паломничества варшавян: все хотели воспользоваться правом на свободное чтение. Не забуду одного рабочего на пенсии, который проводил свободное время за чтением книг, прежде запрещенных, и каждый день спрашивал: «Господа, успею ли я это прочитать, прежде чем они снова прикроют нелегальщину...» Разумеется, мы заверяли его, что это уже свобода навсегда, но старый человек с опытом знал лучше и предвидел новое введение запретов, которое и произошло во время военного положения.

Ячейка подпольной «Солидарности» в университетской библиотеке была очень сильной. Прежде всего был налажен широкий приток подпольных изданий, которые хорошо охранялись от госбезопасности. Благодаря этому здешнее собрание «нелегальщины» принадлежат к самым богатым в Польше.

Люди зачитавшиеся

Что было самым важным в старом читальном зале? Прежде

всего сам этот удивительный, огромный, воздушный зал, составлявший единое пространство с содержанием книг и простором читательских умов. Это мог испытать только тот, кто многие годы жил таким смешанным, но все же однородным пространством. Театр разнообразных привычек читателей — каждый из них свойственным ему образом переворачивает карточки, каждый по-своему впадает в задумчивость — в этом пространстве наполнен такой атмосферой, которую Станислав Выспянский передал в четверостишии «В души театре»:

Театр мой вижу огромным,
простором воздушным и далью,
людьми и тенями полным,
и я их игру наблюдаю.

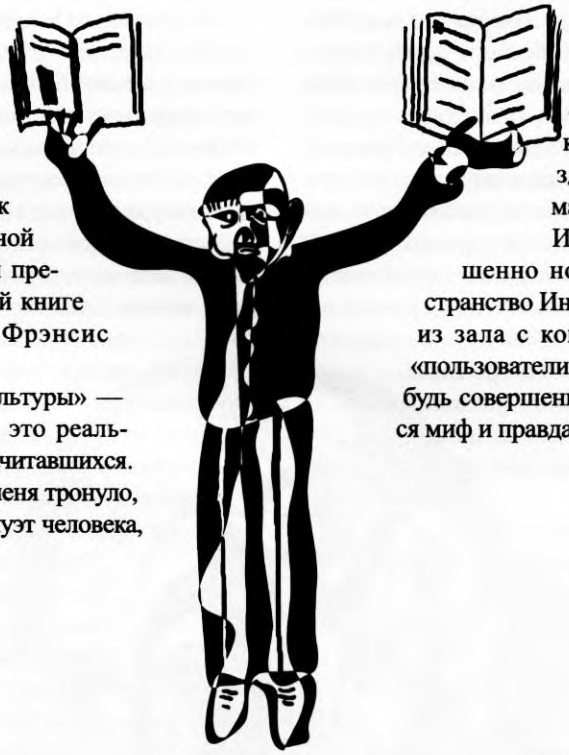
(Пер. Н.Горбаневской)

Тени, о которых писал Выспянский, и тени из прочитанных книг... Когда-то директором этой библиотеки был великий филолог Вацлав Боровый. Он наверняка ходил по этому зданию как по архитектуре коллективной памяти — той, о которой прекрасно писала в известной книге «Искусство памяти» Фрэнсис А. Йейтс.

Да, «пространство культуры» — это совсем не метафора, это реальность. Реальность людей зачитавшихся.

Впервые это глубоко меня тронуло, когда я всматривался в силуэт человека, зачитавшегося прекраснее всех, кого мне довелось видеть, — это был Анджей Киёвский, читавший литературу, необходимую для его «Ноябрьского вечера». Он отрывал взгляд от книги и смотрел перед собой. Книга как будто перемещала свое содержание в пространство перед его глазами. А это пространство — воздух, наполнявший библиотечный зал, — волшебным образом соединялось с внутренним пространством, с пространством души. В реальном пространстве можно было додумать душу читающего...

Сегодня в большой библиотеке чаще всего ищут информацию ради информации, делают ксерокопии и тотчас уходят. А происходит это в реальном пространстве, разумеется, удобном, но обустроенном бездушно. Даже в тематической расстановке книг по полкам есть что-то механическое. Не знаю, соединят ли когда-нибудь эти новые залы два пространства — реальное и ментальное. Может быть, в будущем; может, время станет катализатором такого соединения. Пока что здесь много читающих, мало зачитавшихся.



И есть, разумеется, совершенно новое, виртуальное пространство Интернета, в которое прямо из зала с компьютерами попадают «пользователи». Может, там в какой-нибудь совершенно иной форме возродятся миф и правда Великой библиотеки.

WIEŹ

Петр Матывецкий *(р. 1943) — поэт и эссеист. Автор, в частности, собрания эссе «Приграничный камень», а также книги стихов «Обыкновенная, символическая, правдивая» (1998). Готовит к изданию книгу о Юлиане Тувиме. Постоянный сотрудник II программы Польского радио, номинант премии «Ника». В 1968-1988 работал в библиотеке Варшавского университета. Живет в Варшаве.*

Ежи Гужанский

Перевод
Натальи Горбаневской

НА ТЕМУ КОНЯ КАЛИГУЛЫ

Зло всегда побеждает, потому что добро глупо.
Лорд Шлемофон в кинофильме Мела Брукса «Космические яйца»

I

Коня императора Калигулы звали Инцитатус.

Инцитатус по-латыни значит «быстрый, скорый».

Калигула любил повторять:

— Пусть ненавидят, лишь бы боялись.

Инцитатус жил во дворце, который ему подарил Калигула.

Калигула назначил коня консулом.

Тем самым Калигула унизил римскую аристократию.

Это должно было для Калигулы плохо кончиться.

Калигула чуял, что вроде бы что-то не так, но не обращал на это внимания.

Если бы вычеркнуть это «вроде бы», то стало бы ясно: Калигула явно перегнул палку.

Заговорщики нанесли Калигуле тридцать ударов мечами (а может, даже тридцать один).

И это вполне приличная норма в деле свержения тиранов, а особенно Калигулы.

Инцитатуса выставили из дворца и обрезали ему хвост (впрочем, хвост — по слухам).

Так Инцитатус лишился звания консула.

— Я с ним еще попляшу, — якобы сказал Кассий Херея, один из заговорщиков, тот, что первым вонзил меч Калигуле в подбородок.

Не будем искать намеков в этом ловком обещании К.Х.

Но тот, кто был в Риме во время этих драматических событий, вскоре мог неожиданно увидеть на римском форуме этого самого Кассия Х., танцующего танго «Милонга» с конем Инцитатусом.

Инцитатус, как и положено коню, вел своего партнера.

А другой убийца (их было несколько), вольноотпущенник Каллист, накручивал ручку граммофона «His Master's Voice» только тогда, когда пластинка замедляла ход.

Мир будущего, несуществующий и невообразимый, сближался с миром тутошним, реальным и несмотря на жестокость слегка безумным.

Лучше смешать друг с другом миры, эпохи, события и факты, чем бросить коня Инцитатуса на съедение львам.

Важнее всего почерк пишущего — произношение смертников:

Коня императора Калигулы звали Инцитатус...

Калигула любил повторять...

Инцитатус жил во дворце...

Выставили Инцитатуса из дворца...

Отрезали Инцитатусу хвост...

II

Тысячи отрезанных конских хвостов, которые должны символизировать регулярность (или же иронию?) истории, — хвостов, насаженных на копья, а может, прицепленных к копьям победителей Альп, Дарданелл, греческих рынков, африканских пустынь и коралловых морей, хвостов, поджигаемых, как факелы гитлеровских fackelzug'ов.

Если, моя тесная речь, в тебя не вмещается ни жалость к униженной аристократии, ни снисходительность к сумасшедшему тирану, ни сострадание к осмеянному Инцитатусу, то это лишь вина тех ветреных, изгоняющих дух из тела, ни конца, ни начала не имеющих, беззвездных и безлунных ночей, которые я перетерпеваю, втиснув лицо в подушку...

Это дыхательное упражнение — что-то подтверждающее или что-то опровергающее.

Пока на рассвете не обсядут меня огромные петухи.

Хрипящие петухи.

Одноглазые.

Или петухи с картин Ивана Генералича из бывшей Югославии.

Тот, что взирает на смерть Мирко Вириуса, который лежит на лугу в праздничной одежде, хоть и необутый, окруженный тринадцатью расставленными свечками, с белым платком, положенным на глаза, — смотрят на него издали родные, словно боятся подойти.

Тот, повешенный на шнурке, ощипанный — только крылья полнопёрые по-прежнему готовы к полету в небытие пейзажа.

Из их буйных гребешков течет сладкая кровь «Марсельезы».

III

Нужно сгустить сны и события, когда сгущается кровь, обещанная нашим близким — на долгую и счастливую жизнь.

Белые простыни, как знак капитуляции, вывешивают за окна все женщины, которых я желал, хотя любовь моя въезжает в этот сон на танках союзников

Парни из Миннесоты раздают маленькие шоколадки.

Вкус у них всё хуже.

А на танке играет граммофон «His Master's Voice».

Танго «Милонга» в ритме хип-хопа.

За танком идет отощалый конь.

Он не танцует.

Он следует за победителями достойно, словно идет на бойню.

Жалкий потомок бывшего консула Инцитатуса.

Солдаты бросают коню апельсины.

Но конь принимает аморфный вид человеческой горечи и разочарования.

Конь ловит мое дыхание, вбитое в подушку, — это тот же самый сон, который когда-нибудь переведут на язык простых поступков вождей и шутов.

Это сон Калигулы об Инцитатусе.

Сон игрового тирана о коне-насмешнике.

А потом: лодка плывет, наполненная холодным заревом убийц.

Какие это реки?

Это река Гудзон.

А это река Мансанарес.

А это река Темза.

Твердое произношение смертников.

Распространяющееся зло — рвущаяся взрывчатка на мостах и вокзалах Аркадии.

Должно было быть по-другому, а всё вернулось в норму: зло поумнело, а вечно глупое добро, моя тесная речь, не вмещается ни в тебя, ни в меня.

Ни во что.

Или уже давно уснуло с чем-то обещанным.

Июль 2005

Антоний Либера Перевод Анатолия Ройтмана

ОТЪЕЗД ПАНА АРНОЛЬДА

(Глава из книги, готовящейся к выходу в издательстве «Знак»)

Да, эта история без сомнения была необычной и оставила по себе неизгладимое воспоминание, даже глубокий след, однако невозможно счесть ее источником или хотя бы началом моего «приключения» с Беккетом. Это было бы типичной мифологизацией. Начало в таких делах знаменуют озарение и восторг, а уж потом сознательный выбор. А это произошло только одиннадцать лет спустя.

Год 68-й. Снова осень. Ноябрь.

За последние девять-десять месяцев случилось много плохого. Годами нараставший очередной кризис власти — в результате которого, как всегда, появляются те или иные зажимы, ограничения и обострения — достиг стадии резкого и открытого конфликта. Гомулка, тот самый вождь, который двенадцать лет назад осуждал «культ личности» и преступления сталинизма и торжественно обещал, что «ошибки и перегибы» больше никогда не повторятся, а Польша будет строить социализм «по-своему», теперь, защищая свой пост от поползновений соперников, совершил вещи позорные. Он начал со снятия спектакля «Дзяды» в Национальном театре (а это побольше, чем простое покушение на свободу слова, — это удар по символу национальной культуры); затем развязал антисемитскую кампанию (что в стране, где не так давно Германия под водительством Гитлера проводила Endlösung, не может не вызывать ужаса); и наконец — дисциплинированно, выслуживаясь перед Москвой — согласился послать армию на территорию Чехословакии, чтобы в рамках оказания «братской помощи» подавить «пражскую весну» (что запятнало традиции добрососедских отношений).

Вся эта политика не только живо меня интересовала, но и в высшей степени касалась лично. Уже давно перестал я быть ребенком, меня не защищали дом и школа (а главное, несознательность), я учился в университете и находился в самом центре событий. Я был окружен уже не мифами, как тогда, после октября 56-го, а суровой действительностью. Я своими глазами видел, как милиция разгоняет и хватает людей, которые после спектакля направились из театра к памятнику Мицкевича, протестуя против цензуры и прежде всего — затыкания рта национальной классике. Я сам принял участие в митинге во дворе университета и стал свидетелем того, что́ устроили партийно-гэбэшные штурмовики, привезенные на автобусах; получил дубинкой по голове, чудом избежал ареста. Из особого места я наблюдал начало вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию — из казарм армейского подразделения, куда меня принудительно отправили на сборы; и, значит, ежедневно слушал агитки политруков и участвовал в поверках, поразительно похожих на памятные сеансы ненависти Оруэлла. Но больше всего я переживал антисемитскую кампанию, а особенно ее последствия — массовую эмиграцию. Потому что среди уезжающих было много близких мне людей, ровесников и старших, друзей моих родителей, людей, знакомых сызмала.

Самые разные неблагоприятные сценарии обсуждали мы в прошлом, разные предвидели бедствия и катаклизмы — в культуре, экономике, образовании, здравоохранении, — но никто не мог предположить, что дойдет до такого. Что вернется та травма — времени облав, побегов, доносов и провалов, прятанья в шкафу и отправки в газовые камеры, — что после всего случившегося такое еще возможно. Но вот, видать, возможно. А значит, нечего тянуть —

надо собирать манатки и сматываться отсюда, и как можно дальше. Ничего не поделаешь, не получилось; после почти семисот лет жизни на этой земле нужно ее наконец покинуть и закрыть эту историю «пагубного сосуществования». Это место проклято. Покончить с этим — раз и навсегда.

И вот примерно с лета длится черный сезон расставаний — прощаний и отъездов. Последние хождения в гости, разговоры, оголенные квартиры, exodus с Гданьского вокзала, поезд Варшава—Вена. Длинный хоровод лиц. Среди них — пан Арнольд Мейер, год рождения девятьсот пятый.

Пан Арнольд — человек во всех отношениях необыкновенный. Высокий, худощавый, костистый, с выразительным лицом и звучным низким голосом, он знает шесть языков (французский, английский, немецкий, итальянский, латынь и греческий) и обладает обширными познаниями в самых разных областях. Однако получил он их не обычным путем, не где-нибудь обучаясь. Это гениальный самоучка, даже без аттестата зрелости. Несмотря на это — еще одна редкость — он из богатой семьи. До войны он был рантье, причем высокого класса: проводил время за границей, в удобных, «плюшевых» отелях, укромных пансионатах и неординарных виллах — на побережье Адриатики, в Альпах, в Швейцарии, Франции, Германии. Разумеется, после войны все это кончилось, и тем не менее его положение, по крайней мере на фоне других, все еще было исключительным. Он работал в Госнаучиздате редактором и переводчиком, но благодаря своей особой, как говорили, «пригодности», пользовался условиями, о которых другие в лучшем случае могли только мечтать: работал в основном дома, имел статус «эксперта чрезвычайного уровня» (титул, над которым он любил посмеиваться, но который все же давал ему огромную независимость) и ко всему этому еще очень хорошо зарабатывал. Кроме высокой зарплаты, у него были и другие доходы: авторские гонорары, отчисления от постановок переведенных им пьес, а главное, неформальные вознаграждения в валюте, которые вручали ему в конвертах посещавшие нашу страну иностранцы — он оказывал им помощь как гид и переводчик.

Отец столкнулся с ним еще до оккупации, но сблизила их война. Он вытащил отца из гетто, а позже снабдил его «безупречными» документами. Благодаря тому, что он свободно говорил по-немецки и не был похож на еврея, он вел двойную жизнь, нередко выдавая себя за немца и играя другие роли, и обладал различными, просто поразительными связями. Используя их, он иногда проявлял беспримерную смелость и творил чудеса. И все же несмотря на это — или как раз потому, что счастье так ему улыбалось? — судьба в конце концов обошлась с ним исключительно жестоко. Незадолго до освобождения, когда казалось, что опасность уже миновала, он потерял жену и ребенка (восьмилетнего сына) — от рук каких-то разложившихся при отступлении мародеров, на которых те случайно нарвались. Это, похоже, радикально изменило его характер. Он стал другим человеком. Мрачным, замкнутым, немногословным, язвительным. Родители питали к нему чувства посильнее простой симпатии, однако приглашали его обычно в одиночку, а не в большой компании, потому что он любил провоцировать и бывал саркастичным, особенно по отношению к тем, кто так или иначе — по убеждению или ради карьеры — сотрудничал с режимом или хотя бы относился к нему всерьез и с надеждой, что его можно реформировать и что за это стоит бороться.

И вот пан Арнольд Мейер — высокомерный, «непобедимый», как годами я его называл, обаятельный мизантроп с ироническим взглядом, в котором, однако, временами появлялась глубокая печаль — «подает на выезд», как насмешливо окрестили, передразнивая бюрократические формулировки, подачу заявления об эмиграции. Завершает все дела, продает квартиру, уезжает. Вначале в Вену, а со временем во Фрайбург, где он должен получить должность в издательстве Гердера, а кроме того — компенсацию за понесенный во время оккупации ущерб.

— В Германию, — кривится отец. — Я не брал бы у них денег, даже если б они сами предложили.

— Почему? — противлюсь я. — Что в этом нехорошего?

— Есть вещи несоизмеримые. Деньги за кровь? Сомнительно.

— Зато не сомнительно, — язвительно возражаю я, — когда их берут у государства народной демократии, управляемого русскими.

— Это нельзя сравнивать.

— Ну конечно, — иронизирую я. — Меня только удивляет, почему по отношению к другим ты бываешь снисходительней.

Отцу неохота вдаваться в полемику. Он делает вид, что не слышит моего последнего замечания, и говорит деловым тоном:

— Он ликвидирует свои книги. И хочет, чтобы ты заглянул.

В тот день, когда я туда прихожу, квартира в старом доме на Литовской улице уже почти пуста. Кроме чудно́й тахты, прикрытой как попало (которой, по-моему, никогда раньше там не было), да столика в кухне и двух табуреток, никакой мебели уже нет. Оголены и стены, до недавнего времени увешанные гравюрами и картинами. От них остались только бледные ободки пыли, пятна выцветшей краски и разной величины гвозди. С потолка свисает проводка с обнаженными проводами и крюки, на которых висели тяжелые латунные канделябры в стиле Герцогства Варшавского. Наши шаги и голоса, когда мы проходим по коридору, отзываются слабым эхом.

В комнате, где был кабинет, кипы книг у окна.

— Это я оставляю, — пан Арнольд задерживается у порога. — Те, кто сюда переедет, наверняка сдадут все это в макулатуру, но у меня уже нет сил этим заниматься. Просмотри и выбери себе, что тебя интересует или может пригодиться. Чем больше, тем лучше.

Я сажусь на пол и начинаю просмотр. Действительно, эти книги привлекательны не для масс, а для любителей, притом весьма особых. Прежде всего — потому что в подавляющем большинстве они изданы не по-польски, а на иностранных языках, а кроме того, потому что это литература исключительно специальная — классическая филология, история, этнография. Поэтому и мое внимание больше привлекает стопка годовых комплектов «Диалога», тем более что среди них я вижу много старых номеров, конца 50-х, которых почти уже не встретишь у букинистов и которые особенно ценят коллекционеры. Действительно, это золотая жила: по крайней мере пять раритетов (в том числе знаменитый первый номер!) и ряд не таких, но все-таки редкостей. Легендарные номера журнала периода краткой свободы после сталинского ярма, когда через щель в зловещем «железном занавесе» к нам стремительно ворвалась волна западной культуры.

Я откладываю все это в сторону, не скрывая обеспокоенности, удастся ли мне унести такое количество бумаги.

— Адам, — говорит пан Арнольд, поднимая первый номер, лежащий наверху этой, уже более чем метровой стопки, — забирает с собой полный набор, все двенадцать годовых комплектов.

— Адам? — я поднимаю голову.

— Тарн, главный редактор. Тот, кто создал этот журнал.

— Забирает?

— Он тоже уезжает. Уже сидит на чемоданах.

Я хмуро киваю. Тем временем пан Арнольд листает первый номер.

— Знаешь, тут не целиком, — отзывается он минуту спустя.

— Что не целиком? — не улавливаю я.

— То, что в этом номере было и остается самым важным, — «В ожидании Годо». Здесь только фрагменты. Целиком не разрешили.

— Кто? Автор? Издатель?

— Ц е н з у р а , — цедит пан Арнольд, бросая на меня взгляд, полный сожаления.

— Это странно, — я хочу как можно быстрее исправить мнение о себе и проявить свои знания, — ведь эту пьесу играли в театре. Я ее видел своими глазами.

— Когда! После «октября». А это напечатано несколькими месяцами раньше. Принципиальная разница... Ну и в результате целиком эта пьеса доступна по-польски только в машинописи. Но погоди, — пан Арнольд откладывает первый номер и начинает перебирать иностранные издания.

— Есть! — объявляет он с триумфом и подает мне книгу. — Американское издание, первое на английском языке, — самое первое, французское, уже два года как появилось, а в Англии вышло позже. Тридцать третья книга, изданная «Evergreen Book, Grove Press».

На черно-белой обложке фотография из какого-то спектакля: на светлом фоне горизонта с диском бледной луны две темные человеческие фигуры, словно две китайские тени, украдкой проскальзывают

в сторону темноты справа; они держатся за руки, а скорее одна из них, слегка сгорбившись, тянет за собой вторую, которая как будто упирается; их позы полны напряжения. Эта картинка приковывает взгляд. Это не просто моментальный снимок театрального спектакля — это фотография-символ, своего рода икона. Поводырь и слепец? Беглецы? Два человека, идущие в незнаемое — из полосы света во тьму? Что бы оно ни значило, но это сильно, это впечатляет.

— Это с самой первой премьеры, парижской, — отзывается пан Арнольд, видя, как напряженно всматриваюсь я в обложку. — 53-й год, точнее: 5 января. Еще до смерти Сталина, — добавляет он с насмешливой улыбкой. — Я видел этот спектакль чуть ли не три года спустя. Он не сходил со сцены добрых несколько сезонов.

Разумеется, перед моими глазами тот незабываемый спектакль в Современном. Грустный, лирический Кондрат, недотепистый Фиевский, Кёхер с привязным брюхом и в ботинках на каблуках и тощий высокий Мулярчик. Другое настроение и тон, другая стилистика. В сравнении со сценкой на черно-белом снимке — мрачной, аскетической, без излишеств, — почти идиллическая. Картинка на обложке американского издания выглядит таинственно и грозно.

— Конец второго акта, — комментирует пан Арнольд. — Гого тащит за собой отупелого Диди. Будто бы только под дерево, но в сущности дальше, в другое место, за сцену, куда что-то продолжает его толкать. С виду менее расторопный, чем его товарищ, он оказывается умнее его. Он чувствует, что нет смысла ждать бесконечно, что надо отсюда уйти, искать счастья в другом месте. Знаешь, как Беккет назвал его в первой редакции пьесы?

— Понятия не имею.

— Леви.

— То есть как бы Вечный жид...

— Не знаю, это ли. Скорее, что всегда... первый. Знаешь анекдот об очереди в мясной магазин в Москве?

Знаю, но делаю вид, что не знаю.

— Стоит очередь за мясом. Мяса, понятное дело, нет, но обещают, что уже везут. Через несколько часов сообщение: уже недалеко, но мяса на всех не хватит. В связи с этим из очереди должны уйти евреи. Спустя какое-то время опять: скоро будет, но меньше, чем думали. Теперь пусть уйдут интеллигенты. После обеда то же самое. На этот раз предлагают уйти верующим. Наконец под вечер подъезжает грузовик и водитель объявляет: «У нас временные трудности, мяса сегодня не будет. До завтра! Разойтись!» Взбешенные люди расходятся. «И снова, — ругается кто-то, — лучше всего евреям!»

На притворный смех у меня уже не хватает мужества, и я только киваю головой, давая понять, что предугадал завершение анекдота.

— Ты прав, — говорит пан Арнольд — это, собственно, не смешно.

— Значит, и это я могу взять? — уверяюсь я насчет американского издания «Годо».

— Иначе он отправится в «газовую камеру», — улыбается пан Арнольд. — В скупку макулатуры.

Мы делим годовые комплекты «Диалога» на стопки одинаковой величины и связываем их веревкой. Американский «Годо» приземляется в кармане плаща. Но прежде чем я надену его, чтобы отправиться за такси, пан Арнольд просит меня еще на минуту зайти на кухню. Из кладовки у окна достает какую-то бутылку с красочной этикеткой и остаток ее содержимого наливает в два стаканчика, которые стоят на столе, будто специально приготовленные.

— У меня уже нет здесь рюмок, — наливая, поясняет он, — соответствующих этому напитку.

— А что это?

— Арманьяк. Я получил его несколько лет назад от каких-то гостей из Франции. И все откладывал распитие на какой-нибудь особый случай. Вот, пожалуй, и пришел особый случай, а? И вот теперь мы его допиваем, — из бутылки, перевернутой вверх вогнутым дном, капают последние капли. — За очаровательное прошлое, — пан Арнольд поднимает тост в типичной для него стилистике, — и еще более блестящее будущее!

Мы выпиваем по глоточку и садимся на табуретки. Долгая минута молчания.

Наконец ее прерывает пан Арнольд:

— Я не намерен вмешиваться в планы твоих родителей и тем более в твою жизнь, однако хочу тебя спросить: ты не думаешь об отъезде?

Я медлю с ответом. Знаю, что если отвечу по правде — что нет, — мне придется выслушать суровую проповедь на тему моей наивности или даже глупости, ибо как же можно не видеть или не понимать, что здесь нет перспектив, особенно для таких, как я, что здесь человек пропадает, потому что там, где правит Россия, особенно Россия советская, не может быть ничего иного, кроме ссылки и лагеря, порабощения и нищеты да известного рода чертовщины, которая поражает душу. Я знаю эту песенку на память, более того, я с ней согласен, и во всяком случае у меня нет хороших контраргументов; а раз так, то мое упрямство достойно осуждения. Если же я, чтоб меня оставили в покое, отвечу не по правде — что да, думаю, — то пан Арнольд сразу перейдет к обсуждению деталей (направление, сроки, планы), после чего предложит ту или иную помощь, и в этом будет что-то от навязчивой идеи или наркотической игры с роком (когда-то он вытащил отца, теперь вытаскивает меня), а такая психодрама не слишком мне улыбается. И поэтому я отвечаю уклончиво:

— Думаю, но скептически.

— Почему?

— Это не для меня.

— Не понимаю.

— Я себя знаю.

— И что из этого знания следует?

— Что я плохо приспосабливаюсь, а главное, мне не хватает... ясной цели в жизни.

— Не хватает цели? Ты же учишься.

— Это не имеет никакого значения. Я толком не знаю, что мне делать. Я знаю только, чего не хочу.

— А именно?

— Стандарта... Должности. Ставки. Карьеры.

— И ты рассчитываешь, что именно здесь ты сумеешь этого избежать?

— Мне кажется, да. Скорее здесь, чем там.

— Своеобразная оценка. Народная демократия покончила с безработицей. А значит, кто не работает, тот уклоняется от работы, то есть тунеядец. А тунеядцев искореняют.

— Я знаю эту логику и все же... останусь при своем.

— Не скажу, что понимаю, но настаивать не буду. Делай то, что диктует тебе инстинкт.

Мы допиваем остатки. Я выхожу ловить такси. Пан Арнольд помогает мне снести вниз старые номера «Диалога», а перед самым прощанием вдруг еще говорит, как бы продолжая свой последний вопрос:

— Я д о л ж е н закончить эту партию, vieille fin de partie perdue, il faut finir de perdre*.

И на этом мы расстаемся.

ZESZYTY LITERACKIE

* Старый проигрышный эндшпиль, пора перестать проигрывать *(фр.)*.

Лешек Волосюк

ЛИПНЕНСКАЯ «БОГОРОДИЦА»

Большая и малая история Олеся Маслея

28 июня 1947 года закончилась начатая в марте того же года операция «Висла». Польская армия выселила украинцев из 325 сел и деревень юго-восточной Польши на северные и западные земли. Многие села и деревни опустели навсегда. Десятка полтора — на западной Лемковщине*. Среди них и Липная.

Зимний ветер клонит к земле ветви старых лип. Они росли у церкви.

— Когда-то тут было много лип, потому и деревня так называлась.

Деревни нет, заросла лесом.

— Серой ольхой, на Лемковщине ее вырубали как дерево-сорняк.

«Липная растянулась в долине вдоль реки Липнянки, притока Ропы, в бассейне Вислоки», — писали о деревне много лет назад. Теперь бы о Липной сказали так: «От нее осталось заброшенное сельское кладбище, несколько придорожных крестов и две поляны».

— Там, где липы, стояла униатская церковь. В 1931 г., после так называемого Тылавского раскола, часть местных жителей вернулась в православие, и около кладбища они построили себе новую церковь.

Место, где стояла униатская церковь, можно узнать по пригорку. У его подножья замерли одичавшие фруктовые деревья — это почти всё, что осталось от хозяйств.

— Груши и сливы держатся дольше всего.

Там и сям из земли выступают остатки фундаментов. Они заросли кустарником.

— Летом этого не видно, милосердная зелень плащом покрывает прошлое и не тревожит воспоминаниями взгляд заплутавшего прохожего. Но пойдет снег — и извлечет то, что было.

А что такое, по представлениям Олеся Маслея, большая и малая история?

Большая нужна ему для сравнения с малой, а малая — для осознания собственных корней.

О большой истории рассказывают энциклопедии, музеи, военные кладбища, а малая живет в памяти переселенцев, из ее обрывков их потомки сшивают свои семейные саги.

С большой историей не поспоришь: она ворвалась на эту землю извне, напоила ее кровью и слезами, что давно признано всеми историками и что подтверждает отреставрированное кладбище, где похоронены павшие в I Мировую войну. О малой — историки не спорят, хотя она сидит занозой в душах тех, кого давным-давно заставили покинуть отчий край и под конвоем солдат с польским орлом на фуражках развезли по стране.

Большую историю благословляет время, экспонаты покрываются патиной почтения, достойно застывает слава битвы под Горлицами, в мае 1915 г. положившая начало прорыву австрийских и немецких войск в Галиции.

Малая история выглядит прекрасной лишь в голове Олеся, родившегося в изгнании и вернувшегося на землю отцов, но зато она позволяет ему вживе видеть такой совершенный мир предков, какой способны извлечь из небытия только чары воображение.

* Лемковщина — территория в Карпатах (в Низких Бескидах и восточной части Сондецких Бескидов), где издавна жили этнические украинцы — лемки-русины (или руснаки). — *Пер.*

И на рассыпающихся погребах вырастают стены домов из тесаных бревен, переложенных толстой веревкой, пропитанной дегтем для защиты от червей.

— Лемки гнали деготь из древесины, делали колесную мазь из нефти, стекающей со склонов Низких Бескидов, и торговали этими товарами с XVIII века до последней мировой войны, — Олесь с удовольствием разматывает клубок памяти, где намотаны разные подробности из жизни лемков. — Они обслуживали значительную часть тогдашнего гужевого транспорта. Это как сегодня поставлять масло на бензозаправки: колесной мазью смазывали оси всех повозок, от господских экипажей до крестьянских телег, а деготь служил для сохранности конской упряжи. Лемкам принадлежали склады смазочных материалов от Дерпта до Риеки и от Зальцбурга до Бердичева.

К входным дверям ведут каменные ступени.

— Разворовали их или провалились под землю, которая все примет? — размышляет Олесь, поднимая ногу, чтобы подняться на несуществующую ступеньку.

В окнах по обе стороны от входа алеет герань, а у домов, где есть барышни на выданье, зеленеет аспарагус, многоножка и мирт.

— Аспарагус и многоножка — для свадебного букета, а мирт — на венок и котильонные бутоньерки для гостей, — объясняет проводник по деревне, которой нет.

Вверху крыши из гонта.

— Гонтом крыли не только дом, но и все дворовые постройки — сарай, хлев, свинарник, которые по местному обычаю строились под одной крышей, — объясняет Олесь, шагая вдоль этой воображаемой линии. — Из кухни вход прямо в коровник, и когда мать с утра доит Красулю, доносится запах молока.

Так в воображении Олеся Маслея живут себе липняне в 176 дворах, расположенных вдоль дорог по обеим сторонам речки Липнянки. А на развилках дорог, на краю тропинок и проходов стоят на каменных подножиях железные шестиконечные кресты.

— Они без Распятого: восточный обряд обходится простым символом. Трудно поместить Бога, даже если Он вочеловечился, на шестиконечный крест, — Олесю удается соединить богословие с практикой. — Придорожные кресты железные — значит, деревня была богатая. Но полвека спустя даже они падают и некому их поднимать.

А по обе стороны деревни тянутся еще не заросшие лесом склоны холмов, сетка борозд на них разделяет прежние поля.

— Сколько же столетий потребовалось, чтобы, разравнивая эти клочки земли, возвести на горных склонах межи метровой, двухметровой высоты! Глядя на эти борозды-террасы, хоть они и начали порастать лесом, внимательный прохожий, особенно зимой, заметит, что здесь была деревня, — говорит наш экскурсовод по вымершей Липной.

В первый раз Олесь Маслей попал в Липную 13 лет назад, когда искал новое место для «Лемкивської варты» («Лемковской вахты»), на которую раньше без всяких объявлений съезжались изгнанники с Лемковщины. Сначала эти встречи проходили в Чарной, потом в Ганчовой и Бартном. С 1990 г. трехдневный «костер», организованный Объединением лемков, проходит близ деревни Ждыня. На него в июле со всей Польши, Украины и из других стран собираются старики — уроженцы этих мест, высланные в 1945 г. на Украину или вывезенные в 1947-м на западные и северные земли Польши. По естественным причинам с каждым годом их бывает здесь все меньше, зато все чаще приезжают их дети и внуки. Иногда они привозят с собой старые фотографии с видами деревень, которых больше нет.

Олесь нашел часовенку. Она стояла у подножия склона, над ней шумел лес.

— Среди лип стояла увитая барвинком Матерь Божия с Младенцем на руках, глядя в бесконечность несуществующей деревни. У Ее ног росли и другие цветы, посаженные здесь людьми, быть может, сто лет назад. В лесной глуши — садовые цветы! И за столько лет природа их не заглушила!

Вскоре их уничтожил человек: рядом провели дорогу, чтобы тракторы и грузовики могли вывозить дерево из леса, который когда-то принадлежал лемкам. Липы вокруг Богородицы вырубили, склон разровняли, а часовенку перенесли повыше. Так липненская Богородица оказалась у нового шоссе, между двумя выше растущими липами, которые ради нее пощадили.

— Не забудем, что липы отстоял Зигмунт Войтасевич, председатель охотничьего общества в Горлицах. Сейчас Богородицу иногда называют Липненской Мадонной — в основном так говорят охотники, которые заглядывают сюда чаще всего. А Зигмунт Войтасевич разыскивает, ставит на место и подновляет кресты, восстанавливает лемковские часовенки, хотя сам не из лемков.

Весной, летом и осенью Липненская Мадонна утопает в барвинке.

— Барвинок иногда считают символом Лемковщины. Он здесь повсюду, очень стойкий. В нем есть мистический драматизм, соединяющий любовь и смерть. «Цветок и на свадьбу, и в могилу», — говорит о нем наша пословица.

Дичь и глушь, поглотившие Липную, заставляет Олеся Маслея глубоко задуматься.

О природе:

— Она долговечней человека, вездесуща, живет по своим законам и всегда возьмет свое.

О религии, от которой остаются только придорожные кресты, а когда свалятся, то некому их поднимать:

— Если поляки не протянут нам, лемкам, руку помощи, то мы — нас ведь тут осталось всего несколько семей — ничего не сможем восстановить. Если этими следами человеческой культуры, останками церковной архитектуры не займется управление охраны памятников, то кто?

О сохранении знаков исторической памяти:

— Говорят, средств не хватает. А кому их хватает? Говорят, идеология. Какая? Польская? Католическая? При таком подходе нас лишают человечности.

О примерах из другой области, иногда весьма далекой:

— Если бы испанцы так же думали, что бы осталось от культуры мавров? Если бы французы, немцы, англичане так себя вели, от кельтов и римлян и следа бы не осталось.

О том, что разрушила в нас большая история XX века:

— Неужели коммунизм нас так перекрутил, что мы пренебрегаем памятниками духовной культуры? И спокойно смотрим, как кладбища зарастают травой?

Чтобы отыскать в покинутой деревне старое кладбище, нужно перейти реку и снова подняться на гору напротив часовенки Липненской Богородицы. От реки туда ведет прорубленная в полувековом лесу тропинка.

— На лемковских полях природа воздвигла свои прекрасные конструкции, — радуется Олесь. — Как вот этот лес, меняющий цвета весной, летом и осенью, вдобавок каждое дерево по-своему. Тут есть и лиственница, и сосна, и бук, и береза, и ольха. Ольха быстро разрастается, четырехлетнее деревце уже цветет и рассыпает семена. Их подхватит ветер, они упадут в землю, а солнце и дождь довершат остальное. Тем более что почва с избыточной влажностью ольхе не помеха.

Возле тропинки к дереву прибита дощечка-стрелка с надписью: «Военное кладбище 1914-1918». Олесь оборачивается к реке, бегущей внизу:

— Тут была гора, которую срыли, чтобы для новой дороги построить мост через Липнянку — вывозить лес. Леса на Лемковщине уже почти все вырубили.

След большой истории виден издалека. На выровненном участке склона знаменитый архитектор императора Австро-Венгрии создал военное кладбище. Недавно его подновили, огородили забором, из-за которого видны католические и православные кресты. «Мемориальное военное кладбище I Мировой войны №45 Липная, — гласит надпись. И сообщает: — Погибшие — 97 русских, 56 австрийцев. Проектировщик Душан Юркович. Отреставрировано в 1998 году».

По центру, под четырехконечными крестами лежат австрийцы, а по обеим сторонам от них, под православными крестами, — солдаты русской армии. У офицеров кресты побольше. Над надгробиями эпитафия: «Der Krieg reisst nieder, der Krieg baut auf» («Война разрушает, война строит»).

— Таков был замысел Франца-Иосифа, — объясняет Олесь. — Какой бы он ни был, этот император, но останки каждого солдата, русского или австрияка, велел хоронить рядом, на том клочке матери сырой земли, где они погибли. Одна и та же земля приняла друзей и врагов, что заслуживает уважения.

Расположенный ниже этого военного кладбища липнянский погост, вернее, то, что от него осталось, подтверждает выводы Олеся о малой истории. Покосившиеся, упавшие кресты говорят о том, как она действительно мала. Как непохожи эти два места вечного покоя: одно заботливо восстановлено, а на другом и кресты поломаны. На одном надгробии из светлого гранита креста уже просто нет.

— Может, он был каменный или железный и после 1947 года кому-то здесь пригодился? — бормочет Олесь. — Или это природа сделала свое дело?

На плите полустертая надпись кириллицей. Но если потереть ее комком снега, то, когда он забьется в желобки букв, можно прочитать: «Григорий Пелеш 1889‡1907». Ниже: «Тут почивает блаженной памяти Юльян Пелеш ‡28.VII.1927». Еще ниже: «Пелагея Пелеш упокоилась 16.III.1921. Вічна сей им память». Внизу: «Юльян Пелеш ‡1930».

— Погибших солдат и умерших жителей Липной смерть не объединила. Одну историю реставрируют, а другая изглаживается, позволяя природе поглотить ее и убрать с глаз долой. Если кладбище Львовских Орлят реставрируют, чтобы оно выглядело как до войны, то разве кладбища лемков не должны свидетельствовать о прошлом этой земли и ее народа? — спрашивает родившийся в изгнании лемко, вернувшийся на землю своих предков.

Рядом с заброшенным сельским кладбищем можно обнаружить последнее, что осталось от исчезнувшей православной церкви. Это крест с купола, вросший в бук.

— Слишком тяжелый был, чтобы украсть и сдать в металлолом, вот кто-то и прислонил к дереву, а природа по своему обыкновению приняла его в свое лоно. И так спасла для потомков...

Спускаясь к реке, Олесь снова видит перед собой Липную. И она вновь оживает в его воображении.

— В такой покинутой деревне каждый человек ближе к Богу. Здесь чувствуешь присутствие духов минувших эпох. Здесь я разговариваю со старыми лемками, которые бродят между холмов. За их души никто уже особо не молится, потому что тех, кого нет, трудно понять.

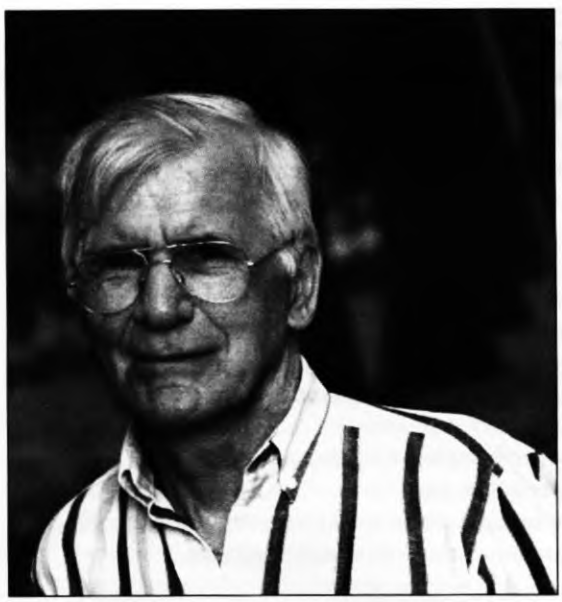
Он помнит, как однажды, возвращаясь с «вахты», встретил старых липнян. Они шли с кладбища, где взяли горсть земли с могил, чтобы отвезти к себе на Украину.

— Своих домов они уже не нашли, даже мест от домов, и полей тоже. Зато в первый раз за полвека смогли помолиться на могилах предков. Нашли свои корни на погосте. Человек всегда их ищет, так уж он устроен.

А большую и малую историю овивает и соединяет один лишь барвинок. Цветок лемков. И на свадьбу, и на могилу.

ФОРМУЛА «МОТОРЧИКА»

Проф. Ян Мадей о прелестях математики



***Проф. Ян Мадей**, математик, информатик, специалист по программной инженерии. Начиная с 1964 г. связан с Варшавским университетом. В 1984-1996 гг. — директор Института информатики Варшавского университета. В настоящий момент — профессор этого института, уполномоченный ректора по вопросам информатизации. Член Комитета информатики ПАН, председатель Совета по информационному и медийному образованию при министерстве национального образования, зам. председателя Главного совета по высшему образованию. Автор методики программной инженерии, именуемой «Parnas-Madey Four Variable Model». Председатель Всепольского фонда помощи детям и зам. председателя Польского общества рассеянного склероза.*

На завершившемся в Сан-Антонио (США) 30-м Студенческом чемпионате мира по программированию студенты краковского Ягеллонского университета завоевали второе место. Седьмое место заняла еще одна польская команда — Варшавского университета. Нам удалось побеседовать с ее создателем и руководителем проф. Яном Мадеем.

— Господин профессор, почему многие люди игнорируют или просто не любят математику?

— Потому что математика ассоциируется у них с чем-то очень сложным, непонятным, ненужным и, более того, непостижимым. Я считаю, что дело тут исключительно в плохих учителях и неправильном подходе. Ведь математика — это прекрасная тренировка ума.

— Каких математических знаний вы ожидаете от образованного поляка?

— Как известно, делая зарядку, человек достигает определенного уровня физического развития. Я ожидаю, что математика позволит людям достичь такого уровня умственного развития, который необходим для нормального функционирования.

— То есть нелюбовь к математике — это нежелание делать зарядку?

— Нежелание напрягать свой ум. А усилие необходимо для овладения любой профессией или областью знаний. Специфика математики заключается в том, что простой зубрежкой в ней немного добьешься, — нужно все время думать, делать выводы и проявлять активность.

— Можно ли сказать, что хорошая математическая форма облегчает общественный диалог и даже является его необходимым условием?

— Конечно. К этому следует добавить интенсивное мышление. К сожалению, отсутствие логического мышления заметно на каждом шагу.

— Сейчас в нашем обществе в самом разгаре сезон скандалов, а после последних выпускных экзаменов поговаривают и о «математическом скандале», так как оценки по этому пока необязательному предмету были очень низкими.

— Просто при попытке выработать единый для всей Польши подход оказалось, что в разных местах математические знания находятся на разных уровнях. Очень часто математику преподают плохо. Плохой учитель способен отбить интерес к математике, вызвать у ребенка реакцию неприятия.

— В большей степени, чем учитель другого предмета?

— Да. Другие предметы обладают большей притягательной силой, поскольку связаны с окружающей действительностью. Даже если учитель рассказывает скучно и не умеет заинтересовать, ученик может заинтересоваться сам — например, наблюдая природу или посмотрев документальный фильм. В случае математики это очень трудно.

— Может ли тяга к компьютеру, столь характерная для детей, вызвать интерес к математике?

— Когда-то так оно и было, поскольку компьютер был предназначен главным образом для составления программ, которые могли касаться разных интересных вещей. Язык, на котором писались эти программы, требовал дисциплины ума и точности формулировок, т.е. как раз тех качеств, которым учит математика. Речь шла о том, чтобы мой собеседник — компьютер — понял, что я имею в виду. Это был лучший и самый простой критерий. Такие программы учили пониманию проблемы и в то же время смирению.

— Но такая роль компьютера уже в прошлом.

— Полтора десятка лет назад компьютер способствовал гимнастике ума. Теперь компьютеры массово используют не для составления программ, а для рыскания по сети, общения, просмотра фильмов и прослушивания музыки.

— Я слышал, что мы, поляки, не любим математику, так как славянская душа не придает значения точным вычислениям и логическим умозаключениям, предпочитая эмоциональную сторону жизни, сферу чувств.

— Как информатик я уже много лет езжу по всему миру и сравниваю нашу студенческую молодежь с заграничной. Так вот, я считаю, что у наших ребят математическое образование лучше, что, впрочем, подтверждают все конкурсы по программированию. С другой стороны, я сознаю, что мои сведения могут быть неполными, так как я имею дело только с особо одаренной молодежью — например, получающей стипендии Всепольского фонда помощи детям. Но я вижу замечательных юношей и девушек, которых не нужно заинтересовывать, потому что они уже увлечены.

— То есть наша одаренная молодежь по меньшей мере такая же одаренная, как заграничная?

— Даже лучше.

— А если брать в среднем, то математическое образование польской молодежи тоже такое хорошее?

— Мне кажется, у нас не должно быть никаких комплексов. Способная молодежь есть везде, даже в маленьких деревушках. Это может подтвердить все тот же Всепольский фонд помощи детям, в котором я работаю уже больше 20 лет и который в год помогает приблизительно 500 детям. Некоторые особо одаренные живут в таких местах, о существовании которых я и не слышал; большинство — за пределами университетских центров. Многие из них происходят из семей без каких бы то ни было интеллигентских традиций, а часть — вообще из патологических семей. Фонд разыскивает таких детей и помогает им развиваться в их собственной среде, заодно активизируя саму эту среду.

— Это, наверное, трудно — ведь в деревенской среде может возникнуть вопрос: а что эта математика даст моему ребенку? Сможет ли она его прокормить?

— На самом деле все обстоит еще хуже. Одаренный ребенок — это проблема для школы, и наоборот. Двое таких детей способны полностью

нарушить спокойный учебный процесс, так как они нуждаются в чем-то большем — иначе им скучно. Учитель не в состоянии установить с ними контакт. Иногда ему даже кажется, что это недоразвитые дети.

— Как вы разыскиваете одаренных детей?

— С помощью СМИ и непосредственных контактов мы просим всех, кто знает способных детей, обращаться в наш фонд (это можно сделать через сайт www.fundusz.org). Такие дети не обязательно должны прилежно учиться и делать домашние задания. Главное, чтобы у них был «моторчик» и интерес к миру. Это касается любой области науки или искусства, а не только математики. Мы используем сложную четырехступенчатую систему отбора, позволяющую ежегодно отобрать 500 детей, которым мы помогаем.

— Что это за «моторчик»?

— Это талант, увлеченность, тяга к знаниям, внутренняя потребность искать правду, что-то делать — стремление познавать мир, например решать математические задачи. Особенно важно, если человек делает это наперекор всевозможным препятствиям. У нас были случаи, когда дети ходили по снегу за несколько километров в библиотеку, а дома — отец-алкоголик и никакой помощи. Это и есть «моторчик».

— Похоже, что дети без «моторчика» не смогут как следует выучить математику в стране, где на выпускных экзаменах этот предмет не обязателен. Какова была цель исключения математики?

— Причиной такого решения могло быть мнение, что у польской школы слишком высокие требования, в том числе и на выпускных экзаменах. Возможно, это было желание позаботиться о том, чтобы дети ходили в школу с радостью. К счастью, математика снова будет обязательным предметом на выпускных экзаменах.

— С одной стороны, мы игнорируем математику, с другой — гордимся успехами наших молодых программистов. Эти успехи — не отдельные подвиги отдельных людей, но регулярные достижения целых коллективов.

— В настоящее время существует несколько всемирных конкурсов по программированию, и на всех мы добиваемся успехов. На школьном уровне это олимпиады, на которых Польшу представляют победители Всепольской олимпиады — дети, ходящие в хорошую школу с активным педагогом.

— Нашпигованные знаниями?

— Да, но не так, как это было в ГДР, не централизованно и искусственно, а естественным образом, в результате множества инициатив снизу. Потом эти люди идут в лучшие польские институты. В наш Варшавский университет поступает абсолютное большинство финалистов олимпиад по информатике и математике.

— Но эти конкурсы — не массовое мероприятие?

— Да, действительно. В олимпиадах участвуют несколько тысяч человек, в финал попадают 50-60, а побеждают и представляют нас за границей лишь несколько.

— Олимпиады предназначены для школьной молодежи, а что потом?

— Уже тридцать лет проводится международный командный конкурс по программированию. Начало ему было положено в США, но теперь он охватывает весь мир (подробнее о нем можно узнать на сайте icpc.baylor.edu/icpc). Осенью проводятся региональные соревнования, в которых в последнее время принимают участие несколько тысяч команд из приблизительно полутора тысяч вузов всего мира. Лучшие из них (в этом году 80 команд) выходят в финал, который проходит весной — как правило, в США. В Варшавском университете все началось осенью 1994 г., когда я случайно узнал об этом конкурсе. Тогда на региональные соревнования в Амстердам поехали трое моих студентов, которых я знал еще со школьных времен (они были стипендиатами фонда), и неожиданно победили. Сегодня отбор в команды — это сложный механизм, разработанный мной совместно с профессором Кшиштофом Диксом.

В этом году на нашем факультете около 60 студентов боролись за право оказаться в числе 18 лучших. Из этой группы было сформировано шесть команд, участвовавших в студенческом чемпионате Польши, а затем три лучшие команды отправи-

лись на чемпионат Центральной Европы. Там мы заняли первое и второе места, что позволит нам в двенадцатый раз подряд принять участие во всемирном финале. Кроме нас такой результат показали только два вуза во всем мире. Стоит также напомнить, что в 2003 г. наша команда нокаутировала конкурентов и завоевала титул чемпионов мира.

— А не обстоит ли дело так, что мы воспитали узкую группу победителей — этакого программистского Малыша, который прикрывает собой общее убожество?

— Нет, состав наших команд постоянно обновляется, так как по правилам один человек может участвовать в финале только два раза. Было время, когда организаторы хотели ограничить и возраст участников, но оказалось, что в этом нет необходимости.

— А имеют ли эти успехи какие-нибудь серьезные последствия?

— Ну, хотя бы такие, что всемирно известные фирмы заметили наши достижения, приезжают сюда и создают не пункты продажи, а серьезные научно-исследовательские центры. Это прекрасный шанс для страны и для молодежи, которая, вместо того чтобы эмигрировать, может реализовать себя на месте. Благодаря успехам информатиков ИБМ открыл научно-исследовательский центр в Кракове, а с другими крупными фирмами ведутся переговоры. Это золотая жила. В мире начинает господствовать мнение, что Польша — держава программистов.

— Насколько оно справедливо?

— Пришло время рассказать еще об одном престижном конкурсе программистов Top Coder (www.topcoder.com/tc), который проводится в США при содействии ведущих производителей программного обеспечения. Каждую неделю участники борются за лидерство в Интернете, а несколько раз в году самых лучших из них приглашают в США сразиться лицом к лицу. Сейчас зарегистрировано почти 70 тыс. человек. Между собой соревнуются индивидуальные участники, учебные заведения и страны. В индивидуальном зачете студенты Варшавского университета побеждали уже несколько раз, а пятеро из них входят в группу 50 лидеров. Среди вузов наш университет уже почти год занимает первое место. Среди стран Польша, как правило, занимает второе место вслед за США, но уже два раза мы были лидерами и в этой категории (правда, всего несколько недель). В мире это тоже замечают.

— Может, секрет состоит в том, что мы превосходим другие команды в организационном отношении?

— Действительно, хорошая организация необходима. Но еще важнее создать в университете соответствующую атмосферу.

— В чем это заключается?

— В действии. Наших асов готовит ранее упомянутый мною профессор Дикс, мой бывший студент. Ему помогают молодые коллеги, многие из которых сами участвовали в подобных конкурсах. Сам я уже не преподаю, теперь у меня другая роль: я делаю рекламу, помогаю получать стипендии, ищу спонсоров. А когда мы едем за границу, иногда работаю шофером, организую развлечения, стараюсь, чтобы во время продолжающихся пять часов соревнований участники ни о чем не беспокоились. Благодаря конкурсам наш университет приобрел известность. К нам сдают экзамены лучшие абитуриенты. Они знают, что здесь они могут реализовать себя. Ну и, конечно, мне было приятно, когда в новогоднем обращении президент упомянул об успехах информатиков из Варшавского университета.

Беседу вел ***Славомир Мизерский***

POLITYKA

ЭТО ВСЁ НЕ СЕГОДНЯ СЛУЧИЛОСЬ

Беседа с Кшиштофом Геральтовским на выставке «Лицо как знак»
(«Круликарня», июнь 2005)

Мы останавливаемся перед фотопортретом Эвы Подлесь*.

Кшиштоф Геральтовский

— Это было у нее дома, где-то на Воле [район Варшавы]. В двух метрах от нас находился полный всевозможных напитков домашний бар, но примадонне за все два часа нашей работы не пришло в голову предложить мне хотя бы стакан воды. И, проработав час, я начал охотиться на ее гримаски... Это фотография примерно 81-го года. Когда потом я показал ей результат, она сказала, что позвонит куда следует и меня проучат. Но, видно, потеряла номер телефона, потому что меня не проучили, и снимок появился в «И т.д.» в интервью с ней — как юмористическая заставка...

— А на этой фотографии отца Тишнера... Уже тогда зарождалась реализуемая вами сегодня концепция «портрета без лица»?

— Все произошло так. Он жил в доме духовной профессуры в Кракове, и я пришел к нему. Его комнатка-каюта была так завалена бумагами, что не было никакого нейтрального фона. Тогда мы вышли на лестницу, и там мне понравилось: город за окном, а он против света, да еще этот крест окна — так я это и сделал. Кстати, в этой серии есть другой портрет, уже с лицом, он напечатан на обложке книги «Беседы с Тишнером», которую в прошлом году выпустил «Знак».

— На этой выставке вы впервые поместили под портретами пространные комментарии, пояснения, в каких обстоятельствах они создавались, что вы помните об этих людях, но нет дат...

— Скажу прямо: даты вытекают из определенного контекста, указывают на этот контекст, а я вообще неохотно говорю о конкретном времени — еще, чего гляди, человечество от меня потребует, чтобы мое творчество шло по восходящей кривой. А мое творчество — синусоида: раз — удача, а раз — мордой в грязь. Вот я и не хочу датировать, специально не хочу, чтобы не говорили: «Ах, как же так, он остановился в развитии!»

— Я потому спрашиваю о датах, что на этой выставке видно, как ваши идеи лица-знака, людей без лиц зарождались раньше, уже на этапе «черной» фотографии. Например, портрет Чапского...

— Да, конечно. Эту фотографию я сделал приблизительно в середине 80-х, а может, за два-три года до его смерти. Он был уже очень усталым и буквально через несколько минут, пока я снимал его лицо, попросту уснул. Уснул, голова упала на плечо, но тут я увидел его руки, они так лежали — прекрасные, аристократические руки. Их я и запечатлел. Есть у меня и его снимки с лицом, но этот, я думаю, гораздо красноречивее.

— Как ваш опыт времен этих черно-белых фотографий перекликается с тем, что вы делаете сегодня, — с этим

---

* Сведения обо всех лицах, упоминаемых в беседе, см. в конце текста.

вмешательством в образ, метаморфозами образа (цвет, компьютерная обработка, печать)?

— Я одинаково отношусь к своим старым и новым работам, потому что считаю негатив только сырьем для создания образа. Если говорить о традиционных методах, то — взять к примеру портрет Феликса Топольского, который делался классическим способом, — я экспонирую позитив в двенадцать этапов, в одном месте делаю светлей, в другом — темней и так далее... Компьютер помогает необыкновенно — например, с портретом Йонаша Кофты: тут негатив квадратный, а по организационно-техническим причинам фотографии должны быть одного формата, чтобы лучше умещались в переносных коробках, и пришлось из квадрата делать прямоугольник. Я зеркально отразил нижнюю часть лица Кофты, сделав картинку прямоугольной. А тут, на портрете Рышарда Винярского, сама модель снята традиционно, только в первоначальном варианте он смотрел на нас, а здесь я сделал распечатку, мне хотелось сделать облака вместо фона. Эти тучки я, конечно, мог бы скопировать общепринятым методом и сделать настоящие облака вместо камуфляжных... но эти усиливают образ. Мои фотографии постоянно изменяются, как вот профессор Липинский, — на моем сайте в Интернете он еще с «целой» головой, а здесь она подрезана и кадр приближен, чтобы глаза сильней сияли. В этом случае тоже происходит классическое вторжение в структуру образа: тут металлизированная бумага, что позволяет сделать светлее область глаз. То, что я делаю с помощью компьютера: меняю картинку, ее свойства, — ведь это всё не сегодня случилось. Компьютер — это инструмент, который мне только помогает делать это сегодня. Но дело ведь обстоит не так, что Гералтовский вдруг схватился за компьютер, как утопающий за соломинку. До этого была металлизированная бумага, наложенные на картинку руки, вырезанные из картона в процессе копирования маски, и т.д., и т.п.

А вот уж на все сто процентов классическая фотография — Геровский. Мне просто казалось, что эти его полосы у него в живописи очень важны, поэтому я пошел к нему с таким обрезком зеркала и попросил держать его в руках. И это совершенно классический прием. А зритель, пришедший на эту выставку, собственно говоря, уже не в состоянии различать техники. Впрочем, неважно, какая тут техника применяется, важен результат.

— А это Дуда-Грач...

— А Дуде-Грачу я положил настоящие осколки разбитого автомобильного стекла. Помню, я их вез в Катовице буквально как реликвию, боялся, что рассыплются, прежде чем я ему положу их на глаза. Но это позволяет мне ассоциировать то, что я считаю самым настоящим в творчестве Дуды-Грача, — сатиру на всех нас в его рисунках. И, как в сказке про мальчика и осколок зеркала, я — как, впрочем, и всегда, не только здесь — обращаюсь к определенным культурным архетипам. Как, к примеру, в этой недавней работе — портрете Вальдемара Свежего, который трудно понять, не зная цирковой афиши Свежего середины 70-х, где изображен клоун в прозрачном цилиндре.

Только что вышла статья обо мне в «Позитиве», называется «Проблемы с Гералтовским». Проблема Гералтовского — еще и то, что мои работы тесно связаны с нашим польским «здесь и сейчас». Что тут обнаруживаются дополнительные взаимосвязи, что, только живя здесь, мы можем эти соотнесения воспринимать. Потому что как великое, так и смешное наших современников вытекает еще и из того или иного социального контекста.

А вот и Феликс Топольский, портрет, о котором я говорил. Если бы я показал вам необработанный снимок, вы увидели бы, что все выглядело совершенно иначе. Надо было подчеркнуть эти книги, младенец был едва заметен, его потом нужно было «вытягивать», экспонировать. Когда я был в мастерской Топольского в Лондоне и фотографировал его, он как раз писал групповой портрет ирландских уличных музыкантов, и в перерыве, когда он отдыхал, потягивая коньячок, я увидел на первом плане ребенка, которого эти ирландцы принесли с собой, и это показалось мне символическим: не сознающее себя детство и зрелый опыт человека... Этот портрет подтверждает, что, когда я работаю в естественных условиях, в том числе на улице, я не могу устанавливать свет, почему и должен впоследствии доделывать образ. Конечно, мне удобнее работать в моей мастерской, где я могу дирижировать светом и цветом так, как мне нужно. Хотя не далее как вче-

ра, например, я разговаривал с композитором Миколаем Гурецким, который болен, живет где-то под Закопане... а мне он нужен в мастерской, потому что у меня родилась новая идея его портрета. И в этом смысле работа в мастерской — и благо, и проклятие. Как и то, что в цвете я работаю аппаратами крупного формата, не меньше среднего, — это дает возможность исследовать материальность человеческого тела, а эта материальность в последнее время, за те шесть лет, что я снимаю в цвете, стала безумно важным элементом описания человека. Сквозь портрет Станислава Лема проглядывает вся высота и нищета нашего существования. Видна здесь беспомощность прекрасного старого человека, который не слишком аккуратно побрился, кое-где порезался...

Прошу принять во внимание, что я оперировал высокочувствительной пленкой — как на этих черных снимках, — которая увеличивала зернистость, дробя образ, к тому же резкость была в одном плане. Видите, если мы сравним резкость этого снимка с современными цветными фотографиями, то заметим, что в самом ремесле произошло огромное техническое преобразование. Мне пришлось научиться управляться с гораздо менее сподручным аппаратом, но и в этом есть свои плюсы, например возможность выразить ту символику материальности, о которой мы говорили... А с другой стороны, как изменились люди! Вот в чем главная трудность!.. Ведь вымерло целое поколение «этих старых дворян», как я их называю. Сегодня уже не мог бы появиться такой портрет, как этот, Казимежа Михаловского. А появился он благодаря тому, что после съемки профессор почел своим долгом проводить меня до ворот своих владений, пройти со мной пятнадцать метров, с этой только целью надел пальто и шляпу и, элегантно одетый, вышел из дому. Падал снег, создавая цветовой рефлекс, и я увидел этот черный глаз, как око египетской статуи, наполненное эбеновым деревом. Сразу возникла такая ассоциация.

Это вообще-то очень важный факт — то, что люди изменились. Я часто говорю, что нынче мне приходится помогать моим современникам, подгримировывая их, чтобы усилить индивидуальность...

— Или, иной раз, чтобы извлечь какую-то существенную черту, знак, фрагмент... Например, с помощью цвета, как с портретом Яна Карского. Помню «красный» вариант с предыдущей выставки.

— Вот-вот, именно. Дело в том, что я вечно ищу. Вариант в красных тонах уже выставлялся, но я все еще был недоволен. Потом я нашел такой кадр, где он, как бы полный надежды, смотрит вверх. Я сделал экземпляр для выставки и... по-прежнему был недоволен. А это компьютерная печать — традиционными методами нельзя добиться такой холодной цветовой гаммы, как здесь. И для этого я в шкале обыкновенного фотоувеличителя для цветных снимков продвигался до самого предела холодных тонов. А потом отсканировал и уже с помощью компьютера добивался все большего холода. Разумеется, первому варианту Карского тоже сопутствовала определенная мысль: он был как бы освещен пожаром войны. Я представлял, что показываю его в отражении зарева, зарева Катастрофы, — и это тоже находило какое-то объяснение, создавало какую-то трактовку. Но я думаю, что и в этой трактовке есть своя сила. В конце концов, прошло уже, кажется, пять лет со дня его смерти, и он тут выглядит так, как будто я его эксгумировал. Очень интересна реакция на этот портрет: очень многим он нравится, но никто не хотел бы его иметь...

— А почему Гловацкий в таких тонах?

— Гловацкий тут в роли кондотьера мировой литературы, вроде того памятника, что стоит во дворе Академии художеств в Варшаве. Кстати, собираюсь попробовать спортретировать этот памятник, возможно, использую его на обложке своего каталога.

Портрет Лешека Колаковского тоже сделан путем компьютерной печати. Тело старого человека в действительности сине-фиолетовое. Натурализм этой синюшности и фиолетовости способен убить любой художественный замысел, поэтому я пробовал найти другое, максимально нейтральное сочетание цветов и снова использовал сканирование.

— Направление сегодняшней выставки таково, что зритель от новейших ваших работ в цвете переходит к черно-белым...

— Да.

— Почему, говоря о выставке «Лицо как знак», вы сказали: приглашаю на мою выставку «людей без лиц»? Это прозвучало несколько двусмысленно: с одной стороны, это касается людей новых, наших современников, часто появляющихся на первых страницах газет, — тех, кого вы показываете такими, каковы они есть. С другой — тех, кто, как отец Тишнер, показан без лица, но с огромной силой...

— ...воздействия. Да, но прошу взглянуть на этот портрет Эрвина Аксера. Я хотел достичь такого эффекта, чтобы сказать, что он маг театра, этакий чародей, который смотрит в стеклянный шар. И это было важнее, чем показать лицо simplicite [попросту]. Или возьмем портрет Джевецкого: тут ведь неважно, что он маленький, рыжий; существенно то, что это портрет человека в действии, напряжении. Я посетил его буквально за несколько минут до премьеры, когда публика уже входила в зал, а он еще делал последние замечания своим танцовщикам. Это здесь главное. Думаю, что мои прежние замыслы стали мне самому более очевидны с тех пор, как я начал работать в цвете. Раньше это были какие-то разрозненные попытки, но внятное осознание пришло, когда я вынул из архива портрет Чапского — не тогда, когда его сделал, потому что тут следует различать непосредственное действие и момент сознательного формирования определенного выставочного собрания, определенного содержания. А что касается лица... Посмотрите, вот фотография Вайды, глядя на которую все говорят: «О, не видно, точно ли это Вайда?» Для меня по сути дела важнее было то, что это человек, отмеченный светом. Этот снимок я сделал на авансцене Старого театра в Кракове, во время репетиции. Он смотрел на сцену, а я отбежал метров на тридцать, стоя между его лицом и светом, ворвавшимся, когда я раздвинул портьеры на окнах. Важен свет, это перетекание света. Я называю это не столько «портретом Вайды», сколько «ситуацией Вайды» — это было время, когда он работал над спектаклем «С бегом лет, с бегом дней...», а цензура с него не спускала глаз. Или, например, драматическая ситуация Ежи Адамского, к пониманию которой меня привело то, что, придя к нему домой, я увидел висящие на стене раздавленные наручные часы «Омега», часы его отца. Он сказал: «Немцы прислали мне их из Освенцима, после его смерти». И я понял, что этот человек после войны жил в страхе. Возможно, поэтому он в некотором смысле запродался, поэтому хотел быть министром культуры, и т.д., и т.п. Я пришел потом к нему в другой раз и принес с собой черный бинт: «Господин профессор, забинтуйте себе, пожалуйста, голову». Между прочим, он очень любил этот портрет.

— А Яроцкий?

— С Яроцким была такая история. Он работал в Кракове со студентами, и я предложил ему пройтись по бульвару в котелке и соответствующем пальто. Он возмутился: «Разве вы не видите, что я одеваюсь в спортивном стиле?» Я отвечаю: «Хорошо, хорошо — как вы одеты, это неважно». Ну никак не хотел согласиться. В результате я пошел к нему домой и сделал снимок буквально за полсекунды, держа аппарат в руках, что и дало эффект смазанности, а мне и нужно было передать атмосферу дерганности.

Или, например, Бжозовский. Этот портрет — результат случайности, но и опять-таки восприятия ситуации. Я приехал к нему в Закопане и случайно увидел любительский снимок времен войны, где он в роли короля в «Балладине» в постановке Кантора. Я говорю: «Ну а для меня вы по меньшей мере принц польских художников». Он взял ножницы — раз-раз, вырезал корону и короновал себя. Тут мы снова сталкиваемся с очень интересной ситуацией, выражающей специфику фотографии. Таких кадров, где Бжозовский в короне смотрит в объектив, у меня, кажется, шесть, и только шестой вышел хорошо. Почему? Потому что на предыдущих он смотрит мне в объектив, а тут, с одной стороны, вроде смотрит, а с другой — как бы погружается в себя, потому что о чем-то своем подумал... И только фотография способна это мгновение безошибочно уловить.

— А Кантор?

— Это было за неделю до его изгнания из Кракова — его в 80-х годах на три года выгнали в Италию. Знаете, моя ведь ситуация аналогична — если, конечно, соблюсти необходимые пропорции. Неизвестно, не станет ли эта выставка последней. Если меня куда-нибудь позовут, я поеду, потому что тут я сейчас ничего уже больше сделать не могу... Чтобы устроить эту вы-

ставку, пришлось залезть в такие долги, что скоро сам пойду с молотка. Кантор тогда был в драматической ситуации: его как раз выгнали из Кракова, и он был в страшном напряжении перед отъездом. Собственно говоря, тут нет ничего особенного, снято стандартным 55-миллиметровым объективом, на фоне окна в его доме. И практически тут ничего нет — только то, что эти люди, которых сегодня уже нет на свете, излучали личностное. Поэтому, если бы даже я снимал их обыкновенно, нормально, делал им самым банальным образом фотку на документ, они бы все равно к нам пробились. Естественно, я использовал свои приемчики, но сами люди были так сильны, такое шло от них излучение, что это нас до сих пор влечет и волнует. Молодежь мне говорит: Геральтовскому надо делать черно-белые фотографии, как раньше. А ведь это невозможно! Просто этих людей уже нет. Взгляните на портрет Густава Герлинга-Грудзинского. Я снимал его в домике садовника в Мезон-Лаффите, где он жил в комнатушке два на три метра, заставленной пачками «Зешитов хисторичных» [«Исторических тетрадей»], которые были прикрыты какой-то материей, так что мне вообще негде было лампы установить. И эта скромность, обыкновенность поведения этих людей в таких условиях подтверждает их величие, которого нынче не сыщешь.

— А Максымюк?

— О, Максымюк сказал мне один из величайших комплиментов, которые я когда-либо слышал. Я позвонил ему, и... — а тут нужно заметить, как важен этот первый контакт, попытка завязать отношения на равных. В общем, я звоню и говорю: «Я получил заказ на ваш портрет, но есть одна трудность... у вас лицо как картошка... но вы мне очень нравитесь...» Наступила тишина. Молчал он долго. «Но, знаете, мы спрячем эту вашу картофельную наружность... Я хочу нарисовать на вашем лице маску клоуна». И на телевидении рисовали ему эту маску, тем временем вошла какая-то важная шишка и сразу: «Ежи, что вы делаете?!» А Максымюк отвечает: «Господин Геральтовский считает, что так надо, а я ему верю». Снимок был сделан в лифте отеля «Виктория», где тогда висело одно из редких таких огромных зеркал, и такая забавная атмосфера возникла, оттого что мы ездили на этом лифте взад-вперед, его нельзя было остановить, иначе раздавался пронзительный звонок, вот мы ездили и ездили, входили люди с чемоданами, мы ехали с ними дальше, и они тоже: «Господин Максымюк, что с вами?» И так далее. Такие, знаете ли, бывали ситуации...

Здесь, на портрете Льва-Старовича, снова видно, на чью живопись я ссылаюсь. Понятное дело, портрет в доспехах, с музой и т.п. Кстати, интересно, что персонажи Мальчевского — или в доспехах, или с музой, музы и доспехов одновременно не бывает. А всё затем, чтобы показать перстень с родовым гербом Старовичей. Эта фотография тоже пережила преобразования. Помню, вначале — на нем была такая джинсовая куртка — я страшно напрягался, чтобы передать все детали. А потом, в один миг, весь этот реализм испарился. И я все затемнил, и получилось намного лучше.

— Запасевич?

— Насчет Запасевича скажу вот что. Я считаю, что у нас сейчас исчезает элита. Недавно президент Качинский [тогда еще президент Варшавы, то есть мэр], пролистывая каталог этой выставки, сказал: «Ну, не всех здесь можно причислить к интеллигенции, хотя несомненно все окончили высшие учебные заведения». Что-то в этом есть, особенно это касается героев моих портретов в цвете. Запасевич же для меня — представитель той исчезающей польской интеллигенции, интеллигент из хорошей, из отличной семьи. Я дал ему бумажную маску смерти, которую он хотел обыграть, как череп из Гамлета. Мне пришлось ее у него вырвать, и больших трудов мне стоило уговорить его надеть маску смерти на затылок.

А вот новейшее мое изобретение. Тот портрет Адама Важика, который вы видели в книге, сделан иначе. А здесь я сначала снимок проявил, прополоскал, потом обрызгал проявителем, включил свет на секунду и снова проявил. Отсюда эти всполохи адского огня... *(смеется)*. Я хотел метафорически выразить ситуацию Важика, который в какой-то момент стал «ничейным»: коммунисты от него отвернулись, позволили ему жить, как прежде, на Аллее Роз, но не более того. А оппозиция его не приняла. Так он и существовал, как в аду — вернее сказать, в чистилище, в Niemandsland.

Ян Котт сфотографирован в месте, которое называется Каменный Поток, Stony Brook, — так, кажется, называется, — неподалеку от Нью-

Йорка. Я поставил его под висящей лампой и вдруг обнаружил, что у Котта — усы, их изучением я и занялся.

Ежи Гжегожевский. Он хотел быть человеком-невидимкой. Будучи художником, он понимал, что выглядит отталкивающе, поэтому фотографироваться не любил. Но этот портрет он обожал. Должен признаться, что когда Гжегожевский его впервые увидел на выставке в Голландии, хотя в Польше портрет уже выставлялся, то прибежал ко мне и поцеловал руку, что меня несколько шокировало. Этот снимок он любил, потому что это был, собственно, синтез Гжегожевского, а не только его телесность. Он настаивал, чтобы эта фотография попала на плакат, подытоживающий его работу в Национальном театре.

— В названиях ваших выставок видна эволюция ваших поисков: «Игры с портретом», «Лицо как знак»; еще не название выставки, но уже прием — «люди без лица»...

— Нет, вообще-то моя коллекция с давних пор носит название «Поляки. Современные портреты». «Игры с портретом» — так называется каталог, книжка с текстом. Выставка в Познани, в Национальном музее, уже называлась «Лицо как знак», но там были выставлены только цветные фотографии. Там же я пробовал вспомнить латынь и дать портретам название «Facies significat» [«Лицо означает»] или «Facies signum» [«Лицо-знак»]. Кто-то мне подсказал, что вернее «Facies signum», но я, хотя и учил латынь в свое время, все еще не уверен. «Facies significat» — это такая кухонная латынь, но у поляка, который хватанул немного латыни с польским оттенком, может вызвать ассоциации.

А здесь я хотел бы обратить ваше внимание на портрет Бялошевского — опять же определенный контекст, определенная психологическая ситуация его создала. Я получил заказ на портрет Бялошевского от ПИВа [польского Госиздата]. Еду, захожу в панельный дом, мне открывает дверь такой упитанный пожилой человек. А я перед этим видел фотографию, на которой Бялошевский — мужчина средних лет. И я вхожу, осторожно начинаю раскладывать вещи... Атмосфера очень странная: окна закрашены черной краской, в одной комнате стоит слепая женщина... но улавливаю какие-то шорохи из ванной, так что устраиваюсь и жду, что сейчас оттуда придет этот Бялошевский. И только когда из ванной выходит другая женщина, начинаю с подозрением приглядываться к этому толстяку. И прихожу к выводу, что он не кто иной, как Бялошевский. Здесь отразилось мое изумление...

— Петр Скшинецкий...

— Ах, Боже мой, с Петром-то мы и кофейку, и водочки попили. Я встретил его как-то здесь, на Старом Рынке, и усадил на льва. У меня есть фотография, как он объезжает этого льва около башни ратуши. А потом мы пошли выпить кофе в Сукенницах, и я выбежал наружу и сфотографировал его через стекло, в котором, как видите, отражается колонна Сукенниц и какой-то другой человек... И эта перетасованность, мне кажется, может быть метафорой «Погребка», его театра, где он склеивал спектакли из разных фрагментов.

Или вот, например, Стерн. Этот снимок сделан за несколько месяцев до его смерти. Я фотографировал его несколько раз, очень любил в Кракове к нему заходить. Он поговаривал, что он — тот пан, который живет у кота... *(смеется)*. Так ему однажды какой-то ребенок сказал. Тогда он очень настаивал, чтобы его приятель отвез нас в одно место под Краковом, сказал, что хочет показать мне свой кафедральный собор. И знаете, что он мне показал? Известковый холм! Но его воображение сотворило из этого холмика собор. Помню его картину, которую я очень любил, но так никогда и не нашлось денег, чтобы ее купить. Это был выгнутый кусок голубого картона в плексигласовом ящике, внизу был лебединый пух и несколько зерен песка... Она создавала ощущение вечности. Ощущение вечности этого человека, расстрелянного во время войны, выбравшегося ползком из-под горы трупов. Все это, эти человеческие драмы видны на лицах «этих старых дворян».

Да, это патриарх авангардного театра — Ежи Гротовский. Этот орден у него был, кажется, две или три минуты. Я сфотографировал его на двадцатилетие театра, когда ему дали этот орден во вроцлавской ратуше. Поймал его журналист с радио, Гротовский давал интервью, а я выстрелил сбоку, и он тут же сориентировался, моментально спрятал орден в карман. Конечно, это ведь не подходило к его об-

разу патриарха бедного театра, а у него, естественно, всегда где-нибудь в уголке была котомка пилигрима наготове. Поэтому, когда мой друг Гет-Станкевич пришел к Гротовскому в следующий раз, когда тот был во Вроцлаве, и попросил поставить автограф на этом портрете, Гротовский в ярости порвал снимок. Так что с глубоким удовлетворением могу сообщить, что нынешний президент Вроцлава купил этот портрет для Института Гротовского.

Забавляют меня всегда эти хитросплетения судьбы. Вот, например, такая ситуация. Два года назад, после моей выставки в Литовском национальном музее во дворце Радзивиллов в Вильнюсе, литовцы очень хотели приобрести что-нибудь из моей коллекции. И наш посол попросил, чтобы польский МИД купил для них несколько портретов. Как вы думаете, кого я выбрал?.. Томаша Неводничанского, Чеслава Милоша и Тадеуша Конвицкого. Так вот, без пролития крови, по желанию литовцев, мы вернулись в Вильно... *(смеется)*.

Пражмовский. Я знал его творчество, но с ним самим не был знаком. Прихожу на встречу с ним в Уяздовский замок, вижу: такой «мэн», огромный, сильный мужик, лицо соответствующее. И я начал думать, что же может быть антитезой этой слишком явной мужественности, мужской внешности... Ха! Бант на макушке, трогательный бантик дошкольницы, символ зарождающейся женственности. Я предложил ему этот бант как полюс мужского.

В 63-м году была у меня выставка «Фотокомпозиции-63». Она была своего рода личным высказыванием о жизни. Выставка провалилась. Началось с того, что секретарь Вроцлавского обкома посрывал половину работ со стен, а местная пресса разразилась сокрушительной критикой. Потом, когда ее перенесли в варшавский Клуб международной книги и прессы, она не встретила никакого отклика. Единственный след, оставшийся от нее, — полфразы в журнале «Фотография». Этот провал привел меня в отчаяние. Принужденный обстоятельствами, я стал фотографом разрезания ленточек, официальных рукопожатий и т.п. И только теперь, в этом выставочном зале, я частично, фрагментарно возвращаюсь к тому субъективизму. Тогда, на выставке 63-го года, я выставил триптих о любви: в средней части сплетенные руки мужчины и женщины на фоне стены — искусственной, взятой из киностудии, а вокруг был такой венок: презерватив, цветок, презерватив, цветок и т.д. А здесь есть такой портрет в честь всех моих пассий. Перед сном однажды подумалось: интересно, как бы выглядела моя жизнь, будь я с Малгосей, Касей или Ядзей, — вот я и сделал синтетический портрет такого духа.

Здесь портрет Яцека Жаковского, который мог бы быть моим автопортретом. Мы были очень дружны в 80-е, вовлечены в «Солидарность», и это «V», полное сомнений, как бы договаривает: «Что нам осталось от тех мечтаний?..»

А вот Чеслав Белецкий. Один гэбэшный следователь во времена военного положения допрашивал меня: «Товарищ Геральтовский, вы-то должны знать, кто такой Полеский, который пишет в «Культуру», ведь вы всех знаете...» Я ему в ответ (естественно, я знал): «Я??? Откуда мне знать?» Я сфотографировал Белецкого в зеркале, воспроизводя атмосферу допроса.

А эта фотография — в озере — символически описывает мою ситуацию: топят меня, но я пока что не даюсь.

Эта же — о похоти, черно-белый снимок раскрашен в кричащие цвета.

Или этот прекрасный торс... есть такая песенка: «Я Катеринка, Катька-картинка...» (смеется). В каждом из нас сидит тоска по вечно женственному.

Портрет моего сына сделан как вечный портрет ребенка.

В общем, портреты без лиц я делал всегда. А вот эти, портреты людей из моей частной жизни, только-только начали появляться. И если успею, то, возможно, что-нибудь из этого выйдет...

Беседу вел ***Збигнев Бенедиктович***

Лица, упоминаемые в интервью

(Примечания редакции)

Ежи Адамский — литературовед и театровед, во время войны боец АК, участник Варшавского восстания.

Эрвин Аксер — один из виднейших театральных режиссеров старшего поколения, ставил спектакли в Польше и за границей. В «Новой Польше» см. его очерки «Тренировка памяти» (2003, №10) и «На борту «Мерседеса» (2005, №9).

Чеслав Белецкий — архитектор, публицист, бывший политзаключенный; под псевдонимом «Мацей Полеский» печатался в парижской «Культуре» и подпольной прессе.

Тадеуш Бжозовский (1918-1987) — художник.

Мирон Бялошевский (1922-1983) — поэт. Автор прозаического «Дневника Варшавского восстания» (отрывки из него см. «НП», 2000, №11, там же переводы его стихов и статья о нем).

Адам Важик (1905-1982) — поэт-авангардист, после войны был одним из самых активных среди писателей пропагандистом коммунизма и одним из первых — в «Поэме для взрослых» (1955) — резко выступил против политики партии.

Анджей Вайда — всемирно известный режиссер кино и театра. В «НП» печатались беседы с Вайдой (2000, №2; 2002, №11; 2005, №9), рецензии (2004, №3), постоянное место (как и многие из упоминаемых здесь лиц) занимает Вайда в нашей «Летописи культурной жизни». Упомянутый в интервью спектакль «С бегом лет, с бегом дней...» (Старый театр, Краков, 1978) — это «театральное повествование на одну ночь или четыре вечера», основанное на текстах польских писателей XIX и первой половины XX века.

Рышард Винярский — живописец.

Густав Герлинг-Грудзинский (1919-2000)— бывший узник ГУЛАГа, писатель, член редакции парижской «Культуры». В «НП» см. его прозу (1999, №1; 2000, №1), беседы с ним (2000, №6; 2001, №11), статью на смерть писателя (2001, №7-8)

Стефан Геровский — живописец.

Эугениуш Гет-Станкевич — график, автор многих плакатов, в том числе «Солидарности» и «Солидарности крестьян-единоличников».

Ежи Гжегожевский (1939-2005) — театральный режиссер и сценограф.

Януш Гловацкий — прозаик, драматург. В «НП» см. 2003, №9, 2006, №2.

Ежи Гротовский (1933-1999) — режиссер, теоретик и реформатор театра. Одно из выступлений Гротовского см. в «НП», 1999, №2.

Генрик Миколай Гурецкий — композитор. В «НП» см. статью о нем Дороты Шварцман (2006, №3).

Конрад Джевецкий — балетмейстер, основатель Польского театра танца (1973).

Ежи Дуда-Грач (1941-2004) — график, карикатурист.

Яцек Жаковский — писатель, журналист.

Збигнев Запасевич — актер театра и кино. В кино снимался у Вайды, Занусси, Кеслевского, Заорского, Фалька и др. — всего более 70 ролей. «Отличная семья», из которой он родом, тесно связана с театром: он племянник актера Яна Кречмара и режиссера Ежи Кречмара.

Тадеуш Кантор (1915-1990) — режиссер, сценограф, художник, теоретик и реформатор театра.

Ян Карский (1914-2000) — во время немецкой оккупации курьер АК, первым привез на Запад сведения о массовом истреблении евреев. В «НП» см. беседу с ним (2000, №11).

Лешек Колаковский — крупнейший польский философ, автор многих книг и статей, в частности, фундаментальной монографии «Главные течения марксизма». Тексты Колаковского в «НП» см. 1999, №№1 и 3; 2001, №7-8; 2003, №12; 2004, №1; беседы с ним — 2000, №10; 2005, №12.

Тадеуш Конвицкий — прозаик, кинорежиссер. В «НП» см. прозу Конвицкого и статьи о нем (2000, №12 и 2006, №6).

Ян Котт (1914-2001) — литературовед и театровед.

Йонаш Кофта — поэт-певец.

Збигнев Лев-Старович — польский сексолог.

Станислав Лем (1921-2006) — писатель, публицист. Его памяти был посвящен 4-й номер «НП» за этот год. Кроме того, его тексты см.: 2000, №10; 2003, №1; беседы с ним — 1999, №4; 2000, №11; 2006, №2.

Эдвард Липинский — экономист, член Польской АН, член-учредитель комитета защиты рабочих (КОР, 1976).

Ежи Максымюк — дирижер, создатель Польского камерного оркестра.

Яцек Мальчевский (1854-1929) — живописец, график, представитель символизма в изобразительном искусстве.

Чеслав Милош (1907-2004) — поэт, прозаик, литературовед, лауреат Нобелевской премии по литературе. Его памяти был посвящен 9-й номер «НП» за 2004 год. Кроме того, его стихи и эссе см. 1999, №1; 2000, №1 и 10; 2001, №№5 и 7-8; 2002, №2, 9 и 11; 2003, №7-8, 9 и 11; 2004, №№2, 4, 6 и 10; 2005, №7-8; 2006, №4; беседы с ним — 2000, №1 2006, №4; статью о нем Томаса Венцловы — 2005, №7-8.

Казимеж Михаловский (1901-1981) — египтолог.

Томаш Неводничанский — ядерный физик, ныне бизнесмен, родившийся в еще польском Вильне.

Эва Подлесь — всемирно известная певица-контральто.

Войцех Пражмовский — художник-фотограф.

Вальдемар Свежий — график, один из создателей польской школы плаката.

Петр Скшинецкий (1930-1997) — основатель и на протяжении сорока лет руководитель знаменитого краковского кабаре «Погребок под Баранами»

Ионаш Стерн (1904-1988) — живописец. Во время войны остался жив после массового расстрела жителей гетто.

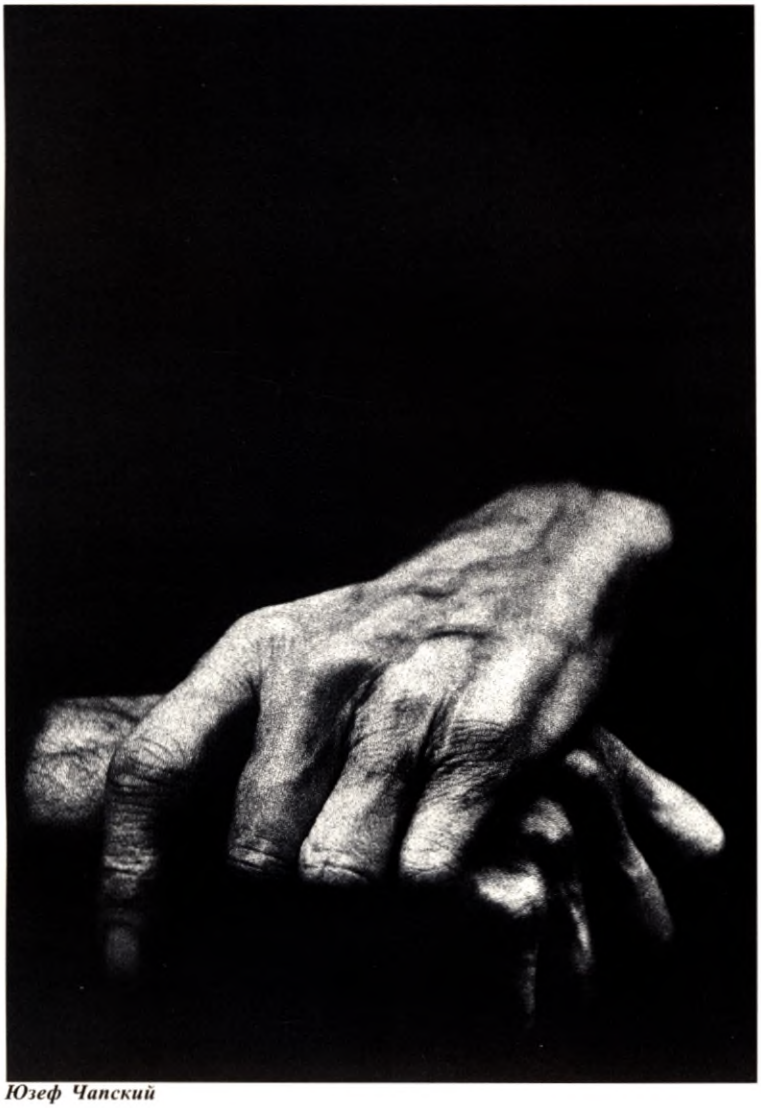
Юзеф Тишнер (1931-2000) — католический священник, богослов, писатель. Статью его памяти см. в «НП» 2000, №9, а воспоминания о нем его ученика о. Ярослава Ягелло и отрывок из его книги — 2006, №5.

Феликс Топольский (1907-1989) — живописец и график, автор, в частности, альбомов «Великобритания в войне» (1941) и «Россия в войне» (1942), делал рисунки в блокадном Ленинграде.

Юзеф Чапский (1896-1993) — живописец, писатель, один из немногих оставленных в живых узников Старобельского лагеря (откуда польских офицеров вывозили на расстрел в Харьков), член редакции парижской «Культуры». В «НП» прозу Чапского см. 2000, №3; 2002, №11; статью о нем — 2003, №11.

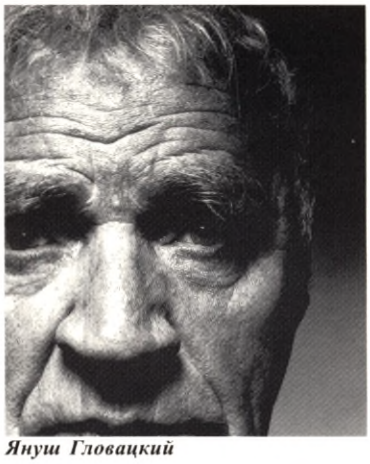
Ежи Яроцкий — театральный режиссер, много лет возглавляет краковский Старый театр. Текст Яроцкого «Остановка Москва» см. в «НП», 2001, №4.

Лицо как знак. Выставка фотографий Кшиштофа Геральтовского. Варшава, «Круликарня», июнь 2005. Выставка, подготовленная совместно с Институтом Адама Мицкевича, проходила в рамках Года польско-немецкого сотрудничества 2005/2006. В Германии выставка была показана в Берлине (сентябрь 2005) и Дрездене (февраль 2006)



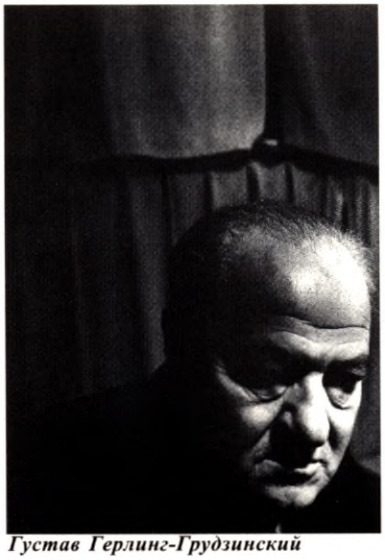
Юзеф Чапский

Ежи Дуда-Грач

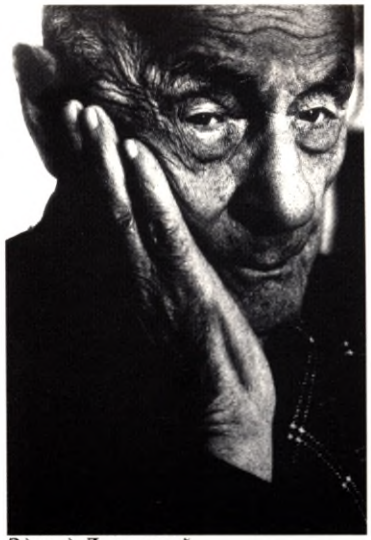


Януш Гловацкий

Ежи Яроцкий



Густав Герлинг-Грудзинский



Эдвард Липинский

Тадеуш Кантор

Юзеф Тишнер

Ян Котт

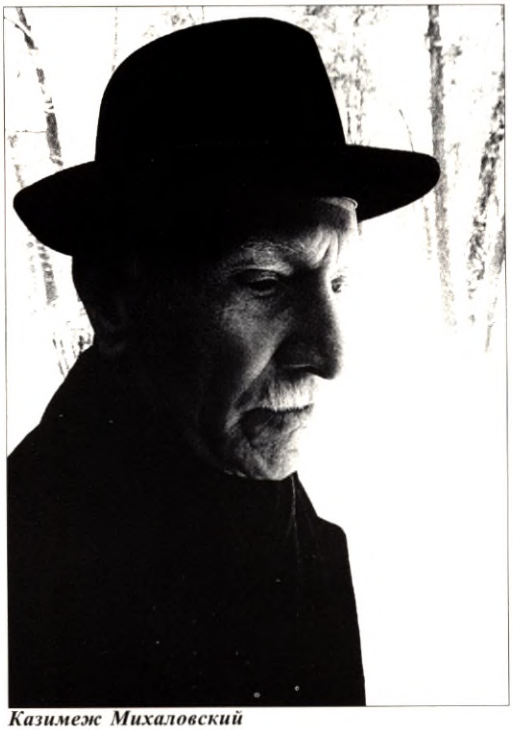
Феликс Топольский

Ежи Гротовский

Петр Скшинецкий

Йонаш Стерн

Мирон Бялошевский



Казимеж Михаловский

Адам Важик

НАД-ВРЕМЕНЕМ-И-МЕСТОМ

Беседа с Юлией Хартвиг

Юлия Хартвиг *принадлежит к самым известным польским поэтам XX века. Ныне она представляет старшее поколение польской поэзии. Хартвиг — лауреат многих международных премий в области литературы. Кроме нескольких десятков поэтических сборников ей принадлежит первая польская монография о Гийоме Аполлинере, а также антология американской поэзии, которую она составила вместе со своим мужем, известным поэтом Артуром Мендзыжецким.*

Немало времени она провела за границей — во Франции и США, что внесло в ее творчество множество интересных тем.

Ей 84 года. Но, как всякий настоящий творческий человек, она полна огромного интереса к жизни и проницательна по отношению к окружающим. Ее жизнелюбие и неистребимая вера в силу духа и доброе начало в человеке отражаются и в ее поэзии, и в ее отношении к окружающему миру.

— Когда-то один из польских литературных критиков назвал вас поэтессой, которая принимает мир таким, каков он есть... Вы действительно удовлетворены этим миром?

— Я исхожу из того, что прекрасно само существование, факт, что мы есть на этом свете. Что у нас есть возможность чувствовать, видеть, слышать, делать собственные открытия. Но это не означает, что я мирюсь со злом. Против проявлений зла я протестую, и это можно увидеть в моей поэзии. Правда, я стараюсь никогда не обличать — я понимаю, что человеческая натура очень сложна. В ней всегда кроется множество противоречий. Мы и соглашаемся с окружающим миром, и сражаемся против него. Мне кажется, что поэзия и в целом литература отражают столкновение этих двух сил. Существует множество причин, которые заставляют человека писать. Когда мы молоды — мы сконцентрированы в основном на своей внутренней жизни, на себе. Мы пишем о любви, о своих размышлениях, горестях. Со временем, когда расширяется наше мировоззрение и мы приобретаем больше жизненного опыта, нас начинает тревожить окружающий мир. Нам хочется что-то сделать, чтобы его изменить. Для меня, к примеру, всегда было очень болезненно существование антисемитизма. Эта проблема существует во всем мире, в том числе и в Польше. Антисемитизм иррационален, поэтому с ним трудно бороться. Пожалуй, это один из видов того зла, который глубоко коренится в человеке и которому нельзя найти объяснение. Я знаю, что мир не так прекрасен, как бы мне и всем нам хотелось. В нас много печали: мы помним, что может произойти то, чего бы нам хотелось избежать, но чего избежать нельзя. К примеру, от нас уходят близкие люди. И мы вынуждены это принимать, даже если внутренне изо всех сил этому сопротивляемся... Но таков мир — и как оно есть, так и есть.

— Верите ли вы, что человек управляет своей судьбой?

— В это я верю. Безусловно, существуют вещи, против которых человек бессилен. Например, он ничего не может сделать для того, чтобы его любимый человек не умер. Но если говорить о решении человеком своей судьбы, я придерживаюсь оптимистического взгляда. Я убеждена, что человек способен себя формировать. И это са-

мое важное. Мы не имеем права пренебрегать своими способностями и теми возможностями, которые встречаем на своем пути. Человек должен развиваться, для этого ему и дана жизнь. Нельзя, к примеру утверждать, что Чеслав Милош родился гениальным поэтом и не прикладывал к этому никаких усилий. Он постоянно чему-то учился и беспрерывно работал. Он сам говорил о том, что не было такого дня, когда бы он не сидел несколько часов за письменным столом. Я убеждена, что без огромных усилий по осуществлению своих планов человек не может состояться как личность. И необязательно для этого становиться известным, главное — внутреннее ощущение своей ценности.

— Приносит ли вам радость написание стихотворения?

— Это вопрос, которым вы застали меня врасплох. Это трудно назвать радостью, скорее всего это осуществление внутренней потребности. Но, безусловно, это приносит чувство облегчения, и оно бывает радостным. Конечно, многое зависит от того, чему посвящено стихотворение. Хотя я убеждена, что даже когда пишешь о личных переживаниях, о боли — надо всегда сохранять определенную дистанцию. Можно также спрятать боль за иронией...

— Можно ли сказать, что ирония характерна для польской поэзии, особенно XX века?

— Да, в значительной степени. Для поэта ирония — своеобразная защита от реальности, а также средство художественного выражения. Так было и для польских поэтов, которые часто не могли говорить напрямую о том, что их беспокоило. Однако не всё можно выразить при помощи иронии. Иногда это становится бегством от трудной темы.

— Отождествляете ли вы свое творчество с польской поэзией?

— Я просто в ней существую. Всё, что близко моему сердцу, было создано польскими поэтами — от Яна Кохановского до Адама Мицкевича и Чеслава Милоша. Тот факт, что я жила в разных странах, занималась изучением и переводами американской и французской поэзии, безусловно, сыграл свою роль. Однако я воспринимаю поэзию как нечто целое, нечто над-временем-и-местом.

— Для вас важна дружба с другими поэтами?

— Очень важна. Я очень рада, когда нахожу общий язык с другими поэтами. У меня действительно много друзей среди поэтов, причем совершенно разного возраста. Первым поэтом, с которым я подружилась, была Анна Каменская. Мы ходили в одну и ту же школу и уже тогда писали стихи и обменивались своими поэтическими впечатлениями. Эта дружба длилась в течение очень долгого времени. Сегодня среди моих друзей-поэтов много представителей среднего поколения, то есть тех, кто значительно младше меня. Мне нравится с ними общаться. Они открыты для дискуссий, благодарны за внимание, и среди них много по-настоящему талантливых авторов.

— Как к вам приходят идеи новых стихотворений?

— Это бывает по-разному. Иногда какая-то тема, ощущение просто преследуют меня, но стихотворение не имеет своей формы, и я не знаю, как его закончить... Этот процесс может длиться месяцами или даже годами. А иногда под влиянием вдохновения я сажусь за стол и пишу стихотворение, которое не требует потом никаких исправлений. Все зависит от того, насколько осознанным и прочувствованным был тот импульс, который заставляет нас писать. Писатель или поэт часто стремится выразить свое отношение к тому, что происходит в современном мире. Это оказывается сложной задачей, особенно для поэтов. Немногим удалось говорить на темы современности языком высокой поэзии. Среди них были Адам Мицкевич, Норвид, Чеслав Милош.

— У каждого поэта есть какая-то своя тайна... В чем вы черпаете вдохновение?

— Для меня огромный интерес представляет живопись. Когда я куда-то еду, я обязательно интересуюсь живописью той страны или города. Картины для меня — дополнительный источник вдохновения. Очень сильный импульс. Многие мои стихотворения родились под впечатлением от увиденных образов или моих ощущений, вызванных картинами, в том числе малоизвестных художников.

— На вас оказывает такое воздействие живопись определенного стиля или эпохи?

— Живопись разная. Я восприимчива ко многим стилям. К примеру, венецианская живопись, вообще итальянская, эпохи средневековья и современная. И американская живопись меня очень интересует. Когда в течение нескольких лет я жила в Америке, я ходила на лекции по живопи-

си. Мне это очень помогло понять и почувствовать тенденции современной живописи. Когда я пишу стихотворения, я часто стараюсь «увидеть» мои образы.

— Можно ли сказать, что переводы французских поэтов, которыми вы так много занимались, оказали влияние на ваше творчество? Вашу поэзию часто называют образцом классической поэзии. Что для вас составляет главный принцип поэзии?

— Да, меня всегда интересовала эпоха Гийома Аполлинера и его окружение. Умение тех поэтов штрихами и образами показать мир в его прозрачной красоте или печали. В своем творчестве я тоже стремлюсь к тому, чтобы у читателя не возникало проблем с пониманием моей поэзии. Думаю, это очень важно — уметь выражать сложные вещи ясным и выразительным языком. В этом и заключается магия поэзии. Некоторые свои стихотворения я могла закончить только спустя несколько лет после их написания. И то, что я находила нужные слова для завершения рожденного мной образа или мысли, всегда приносило мне чувство огромного удовлетворения...

— Как вы оцениваете значение поэзии в современном мире?

— Ее значение уменьшилось. Сознавать это болезненно. Люди вообще стали меньше читать. В истории были удивительные периоды — например, период польского романтизма или «великой эмиграции», когда люди жадно читали стихотворения и поэмы Мицкевича и Словацкого, которые присылали им из-за границы. И для них это было жизненно важно. Сейчас другое время. Сегодня все пишут, все издают книги, у кого есть деньги. И мало кто читает. Однако говоря о поэзии, мы должны учитывать, что она всегда была для избранных.

— Как бы вы назвали нынешний период развития Польши?

— К сожалению, мы и сами признаём тот факт, что в Польше существует сегодня очень много несогласия. Говорят, что поляки лучше всего проявляют себя в кризисные моменты. Так была создана «Солидарность». Или подобное происходило с поляками, когда приезжал Иоанн Павел II. Тогда мы были очень сплочены. Но сегодня разделение в польском обществе очень сильно. Появилась огромная разница между богатыми и бедными. С этим ничего не поделаешь, это принес капитализм. И тут я вижу определенное противоречие, поскольку в программе демократического строя заложено решение социальных вопросов, и в то же время мы пытаемся строить нашу экономику на основах капитализма. Невозможно предоставить всем равные социальные льготы в условиях свободного рынка. Поэтому мы просто вынуждены жить в условиях социального неравенства. В польском обществе, к сожалению, существуют также острые идеологические и политические разделения. Появляется все больше новых политических партий. И не утихают, а усиливаются исторические споры. Польша переживает сегодня сложный период. Однако существует множество и хороших черт, характеризующих наше общество. Польша известна в мире благодаря своей культуре, музыке, литературе, театру. Наше общество в области культуры развивается очень динамично, очень живо. Я считаю, что мы можем этим по праву гордиться.

— Вы уже знаете, о чем будет ваш следующий сборник стихотворений?

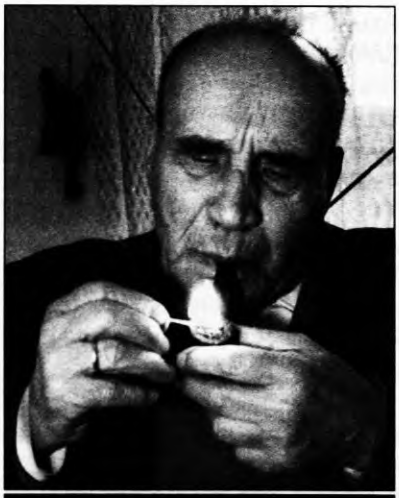
— Честно говоря, я бы хотела написать что-то совершенно новое. Наверное, поэтому за последние несколько месяцев я больше размышляю, чем пишу. Это сложное состояние для поэта. Иногда кажется: может быть, я уже никогда ничего не напишу? Но у меня уже были подобные периоды. Мне было необходимо время для того, чтобы родилась новая книга. Это случается со многими поэтами и писателями — так было, к примеру, и с Вислава Шимборской, когда она не ничего не написала в течение нескольких лет, а потом выпустила сразу несколько книг. Мне бы хотелось внести в мою поэзию какую-то свежую струю. Поэтому я пока не спешу. У меня никогда не было ощущения, что я *должна* что-то издать. Важно, чтобы пришел нужный момент.

Беседу вела ***Виктория Дунаева***

Юлия Хартвиг **Перевод Елены Шиманской**

НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Отрывок из книги «Избранники судьбы»



Ян Юзеф Щепанский

Нередко раздаются сетования, что, мол, нет у нас людей, способных служить образцом. Я всегда это выслушивала довольно скептически, особенно когда еще были живы такие люди как о. Юзеф Тишнер или Ежи Турович. Думаю, в каждом сообществе есть такие люди или хотя бы один человек, который пользуется всеобщим уважением и при котором любой постыдится совершать недостойные поступки. У писателей таким несомненно был Ян Юзеф Щепанский. Но если б ему сказать это в глаза, ему бы это наверное не понравилось: одной из вещей, которых он особенно не выносил, была лесть.

Продолжительная болезнь и связанная с ней изоляция от внешнего мира привели к тому, что Янек ушел как-то незаметно — по крайней мере для нас тут, в Варшаве, — как он, вероятно, и желал. Тем не менее все мы знаем, что его уходу предшествовали долгие месяцы болезни, все более мучительной и нещадной.

Нам не надо было дожидаться кончины Щепанского, чтобы понять, кто он. Как получается, что человек настолько скромный и на вид «обычный» — каким он всегда хотел казаться — заслужил такое уважение, сопровождавшееся такими сильными чувствами доброжелательности, доверия и дружбы? Он же никогда их не добивался — напротив, был сдержан в проявлении чувств и даже иногда резковат, но на зло, несправедливость и чужую беду реагировал немедленно и без колебаний. В некрологах, появившихся за последние два дня* в печати, рефреном повторяются слова его друзей: кристально чистый человек, человек чистый и несгибаемый, один из самых умных и благородных писателей своего поколения. Секрет обаяния личности Яна Юзефа Щепанского следует искать и в его характере, и в его биографии, и в его творчестве.

Я знала Янека много лет — он дружил с Артуром [Мендзыжецким] и неоднократно бывал у нас дома во время своих коротких наездов в Варшаву. Долгое время мы сотрудничали с ним и в общественной деятельности: он был членом комитета «Солидарности» при Лехе Валенсе, членом правления ПЕН-клуба и председателем Союза польских писателей в течение двух, почти трех сроков, если включить сюда период военного положения, когда председателю вместе с президиумом пришлось работать нелегально: тогда вместо распущенного Союза писателей под тем же, незаконно заграбастанным названием был создан союз, собравший литераторов, послушных партии и законам военного положения. В этот союз не вошли писатели, которые сочувствовали «Солидарности» и защищали идею независимости и права на самоопределение, притом писатели самые крупные — от Херберта и Шимборской до Стрыйковского, Лема и Киёвского. Все перипетии борьбы за дальнейшее существование Союза писателей, основанного еще Стефаном Жеромским и гордившегося своими традициями, Ян Юзеф Щепанский описал в знаменитой книге «Срок полномочий», где он говорит и о нажиме партийных органов, и об интригах и обмане, с которыми ему пришлось столкнуться. Для такого человека, как он, всю жизнь хранившего верность идеалам Джозефа Конрада, грязный характер игры, в которую его втягивали, был особенно отвратителен.

В 1989 г. члены бывшего Союза польских писателей, пережив период травли и разобщенности, решили основать новый, независимый союз — Объединение польских писателей. И тогда они вновь единогласно избрали своего прежнего председателя и правление в том же составе, что и до введения военного положения.

Ян Юзеф Щепанский был безусловно самым лучшим, самым популярным и уважаемым председателем за все послевоенные годы. С ним можно сравнить лишь Антония Слонимского, ставшего председателем Союза писателей после 1956 года, хотя эти два выдающихся человека были совершенно не похожи друг на друга по

* Ян Юзеф Щепанский умер в 2003. — *Пер.*

характеру. Во времена ПНР пост председателя Союза польских писателей, объединения, весьма сильно влиявшего на общественное мнение, пользовавшегося уважением в обществе и находившегося под бдительным наблюдением властей, был очень почетным. Однако в декабре 1980 г. Ян Юзеф Щепанский изо всех сил сопротивлялся этому почетному избранию. В конце концов ему все-таки пришлось уступить натиску коллег, причем больше всего поддерживали его кандидатуру писатели, активно участвовавшие в демократическом движении. Я очень хорошо помню то время, потому что вместе с Анджеем Ярецким, Казимежем Дзевановским, Анной Тшетяковской, Лешеком Пророком, Ежи Сито, Збигневом Кубиковским и еще некоторыми друзьями входила тогда в состав президиума.

Ян Юзеф, после избрания вынужденный постоянно ездить в Варшаву из Кракова, где он жил, исполнял свои обязанности с образцовой добросовестностью, но я никогда не забуду, как на бесконечно затягивавшихся заседаниях президиума он на глазах «увядал», до предела заскучав и устав. Он не любил собраний, не любил бесконечной пустой болтовни, но был не в силах установить более строгий регламент. Зато, когда надо было действовать, он обретал всю свою энергию. Это были героические времена «Солидарности», с которой СПП заключил отдельный договор о сотрудничестве (что и стало основной причиной его роспуска), период деклараций и резолюций, которые нам приходилось составлять спешно, прямо на заседании. Мы охотно поручали эту работу председателю, он делал ее быстро и хорошо. До сих пор помню, как он сначала раскуривал трубку, потом брал ручку и через несколько минут клал на стол исписанный мелким красивым почерком текст без единой помарки и, как правило, не требовавший никаких поправок. Мне бы хотелось когда-нибудь увидеть рукописи его романов и эссе, чтобы проверить, возникали ли они вот так же, одним махом.

Во время военного положения, невзирая на решение властей о роспуске Союза писателей, президиум продолжал собираться — в комнатушке, где наш председатель останавливался в Варшаве. Она располагалась близ Рыночной площади Старого города, и мы встречались там по мере необходимости, соблюдая определенные предосторожности, так как при военном положении любые собрания были запрещены. Все это время Щепанский поддерживал связь с отделениями СПП по всей Польше, президиум также координировал благотворительную деятельность наших пастырей и сотрудничал с Примасовским комитетом помощи заключенным и их семьям — там работало несколько человек из нашего союза. Не прекратились и наши контакты с правлением «усыпленного» ПЕН-клуба [Польский ПЕН-клуб не был распущен, но деятельность его, как и всех объединений, была запрещена — однако, разумеется, продолжалась. — *Ред.*] и [подпольным] Координационным комитетом творческих союзов и научных обществ. Наши встречи у председателя, где всем приходилось сидеть на чем попало: на колченогих стульях, на кровати, скорее похожей на нары, — уже принадлежат истории нашего писательского братства, истории, которую после книги «Срок полномочий» никто не пополнил, хотя вспомнить было что — взять хотя бы наши тайные заседания в монастыре бенедиктинцев в Тынце. Вся эта деятельность, скромная, но отнюдь не бесполезная, наверное, сильно хромала бы, если бы ею не руководил Ян Юзеф Щепанский. Наши встречи близ Рыночной площади закончились довольно неожиданным образом. Как-то поздно вечером, когда Лешек Пророк, как обычно, встретил на вокзале Щепанского и они вместе уже поднялись в квартиру, дверь оказалась опечатанной. Назначенный в Дом литературы комиссар проявил похвальную бдительность. Щепанский переночевал у Лешека дома, но место собраний пропало, и надо было устраиваться иначе.

С того момента, как Ян Юзеф Щепанский в 1990 г. покинул пост председателя (в 1993-м ему единогласно было присвоено звание почетного председателя) — эта должность начала терять свой блеск, что, вероятно, связано с падением авторитета писателей в обществе. Но так как мы не единственный творческий союз, который отошел в тень, то можно предположить, что сейчас наступил период усталости от традиционных форм общественных объединений, — время покажет, так ли это.

Конечно, Ян Юзеф Щепанский войдет в историю не как председатель Союза (позднее — Объединения) польских писателей, а как автор красочных репортажей о путешествиях, прозаик, создавший «Польскую осень», «Ботинки», сборник эссе «Перед неизвестным трибуналом». Память о нем будет поддерживать его яркий жизненный путь, его партизанское прошлое и деятельность в демократической оппозиции времен ПНР. Сохранится, надеюсь, и память о его человеческих достоинствах: мужестве, стойкости и редкой скромности. Но я буду помнить Яна Юзефа Щепанского еще и таким близким нам Янеком, у которого всегда была в запасе какая-нибудь анекдотическая история, чтобы рассказать за ужином, который любил и других послушать, и сам поговорить. И который, пережив и военные испытания, и опасности морских экспедиций, по-прежнему — может, несколько старомодно, а может, по-конрадовски романтично — больше всего на свете ценил верность и мужскую дружбу.

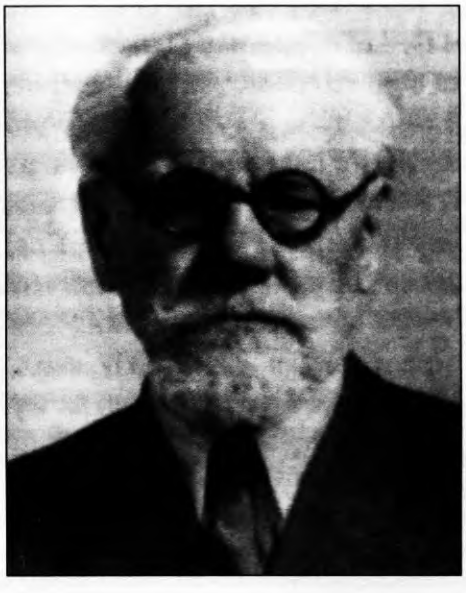
Wybrańcy Losu, wyd. Sic!, Warszawa 2006

Магдалена Байер

ВИТОЛЬД ОРЛОВСКИЙ

Из цикла «Династии ученых»

Потомки Витольда Орловского, родоначальника польской терапии: сын Тадеуш и его двоюродные брат и сестра Ольга Мёдушевская и Збигнев Орловский, — профессора медицины. При встрече с ними я почувствовала, что обязательно должна рассказать, как я — ликвидируя вроцлавский дом — отдала молодым врачам из моей родни довоенное издание 8-томного учебника Витольда Орловского, которым после войны пользовался мой отец, преподавая студентам медицину. Автор учебника занимает главное место в истории рода, которую я представляю читателям.



Его древнюю историю лучше других знает Збигнев Орловский, владелец сохранившихся документов. А из документов следует, что Орловские родом из Мазовии и после битвы под Пловцами, то есть в середине XIV века, получили герб Любич. В нескольких десятках километров к востоку от Торуни есть местность с таким названием, на берегу реки Брда, — прежде, говорят, она называлась Люба. Чуть дальше от Орловского озера находится и Орлово.

Из этих-то мест часть семьи отправилась за границу, другая часть — на Подолье и Волынь, а предки моих собеседников осели на Виленщине. Из мглы веков появляется фигура Семена Орловского, жившего когда-то на минской земле, отца пяти сыновей, в числе которых был и прадед моих собеседников. Дед управлял имением Тукаллов, но в 80-х гг. XIX века поселился в Вильне, положив начало традициям рода — сперва интеллигентским, а в следующем поколении научным.

Поляки, получившие образование в Российской империи

Три брата — Витольд, Зенон (отцы троих нынешних профессоров) и Мечислав — окончили в Вильно реальную гимназию, а затем отправились продолжать свое образование в Санкт-Петербург, поступив на медицинский факультет Императорской Военно-медицинской Академии. С ними вместе поехала еще и сестра Марыся, в будущем стоматолог. Лучше всех учился Витольд, он всегда первым отвечал на экзамене и, как правило, это приводило к тому, что третьему из братьев экзаменатор тоже ставил высокую оценку, исходя из того, что раз уж они учатся вместе, то и предмет знают одинаково хорошо.

Самый младший брат, Зенон, заболел во время учебы туберкулезом, и его отправили на курорты Кавказа лечиться с помощью климата и кумыса. Он вылечился, но заразился страстью к бальнеологии, не оставлявшей его на протяжении всей дальнейшей жизни врача. Старший брат, Витольд, тоже какое-то время практиковал в тех местах, где и познакомился со своей будущей женой Алиной Третьяковской.

По окончании академии Зенон Орловский служил в армии и сражался — наверное в той же военной форме — с эпидемией холеры в Средней Азии. В 1906 г. он вернулся в петербургскую клинику внутренних болезней, которая в то время имела репутацию прекрасного научного учреждения; там он защитил кандидатскую диссертацию.

Находясь в российской академической среде, молодые поляки старались не утратить ту патриотическую настроенность, которую каж-

дый из них вынес из родного дома. Доктор Зенон Орловский активно создавал в России польские общества врачей; публикуя научные работы на русском языке, он постоянно заботился о том, чтобы они были опубликованы в краковском «Пшеглёнде лекарском». Он открыто высказывался за независимость своей родины, в связи с чем ЧК упрятало его в тюрьму. В Польшу он вернулся (оставив на полгода жену), когда был подписан Рижский договор 1922 года. К этому времени он был уже доцентом и почти немедленно принял кафедру, а несколько позже возглавил клинику в восстановленном Пилсудским Виленском университете им. Стефана Батория. Университет размещался в том самом здании, где прежде находилась гимназия, которую окончили трое братьев Орловских.

Самый старший, Мечислав, тоже получил российский диплом. Он специализировался по дерматологии и венерологии, в Польше стал военным врачом, а свое время делил между медициной и... оперной музыкой, которую слушал чаще всего в записях на пластинках из своей весьма впечатляющей коллекции.

Во время моей встречи с потомками трех братьев, выпускников петербургской Военно-медицинской академии, профессоров времен Второй Речи Посполитой, я много раз слышала, что образцом добродетелей и заслуг был Витольд — как в своей семье врачей, так и для последующих поколений тех врачей, которых он учил сам или которые учились по его фундаментальному труду.

Когда ему было 25 лет и он, как и брат Зенон, работал в петербургской клинике, освободилась должность заведующего кафедрой терапии в Казани, где был второй по уровню подготовки и значению университет в России. Документы на конкурс выслала жена. Витольд Орловский кафедру получил. В Казани родился его сын Тадеуш, который потом с волнением рассказывал, как он в свой 70-й день рождения делал доклад в Казанском университете, а потом ему показали прежнюю клинику его отца и его кабинет.

Тадеуш Орловский решительно утверждает, что никогда не был склонен к деятельности на общественном поприще, как его отец, который на рубеже XIX-XX веков много сделал для находившейся в Казани значительной группы поляков, «эвакуированных» из Царства Польского; благодаря ему было учреждено культурное общество, организована школа для детей, больным он сам оказывал помощь. После революции ему пришлось бежать через Сибирь и Японию. Еще очень долго, уже в Польше, ему случалось кричать во сне. Мать успокаивала детей:

— Тихо, тихо, большевики ему снятся.

С собой на родину он привез страсть к общественной работе и развил эту деятельность в независимой Польше. Он добился, что туберкулез был признан социальной болезнью, и очень много сделал для борьбы с ним. Болезни суставов он изучал с научной точки зрения, а профилактику подобных заболеваний видел в физическом воспитании, для чего создавал консультации по вопросам развития физкультуры.

Витольда Орловского всегда интересовали новости медицины. Он первым в России стал делать лечебный пневмоторакс, первым занялся рентгенологической диагностикой, а также стал применять различные другие методы лечения. Сын охотно признает себя наследником и продолжателем дела отца.

Следует отметить, что Тадеуш Орловский — специалист в области терапии, нефрологии и трансплантологии. По этим дисциплинам он написал 160 работ, ради их развития участвовал и по сей день участвует в работе соответствующих медицинских обществ и комиссий Польской Академии наук, членом которой он является. Обо всем этом он говорил чрезвычайно лаконично, постоянно концентрируя внимание на личности крупнейшего в роду врача и ученого.

Сын своего учителя

Профессор говорит, что если суммировать время всех его бесед с отцом, не связанных с медицинскими темами, то получилось бы не более двух-трех недель. Зато время ученичества у Витольда Орловского продолжалось многие годы.

— Не могу сказать, что мне хотелось стать врачом. Я должен был стать врачом и давно знал, что буду им.

И в этом нет ничего удивительного — врачами были дед, отец, братья отца, тетка, двое детей дяди Зенона, тоже участвующих в семейной встрече, а в следующем поколении стал врачом сын Збигнева Орловского.

Две сестры и брат Тадеуша Орловского, ныне старейшины рода, связаны с медициной по-разному. Старшая сестра окончила Высшее сельско-

хозяйственное училище и германистику в университете, вышла замуж за врача, ставшего потом профессором физиологии, и написала учебник немецкого языка для студентов Медицинской академии. Брат — химик, работал в фармацевтической фирме «Мотор» и, в частности, синтезировал польский аналог аспирина, известный до войны как мотопирин. Младшая сестра пошла по стопам тетки, получила дипломы врача-терапевта и стоматолога, стала хирургом-стоматологом.

Аспекты отцовского влияния на сына невозможно разделить на те, которые формировали будущего врача, пытливого исследователя, и те, которые формировали отношение к миру, обществу, государству, формировали как его политические взгляды, так и воззрения на организацию здравоохранения и научных исследований.

— Нас воспитывали не пустыми фразами, а примером. Если отцу надо было где-то появиться или что-то сделать в семь часов, то это значило в семь, а не в десять минут восьмого или без пяти семь. Наблюдая это на протяжении десятков лет, я был уже не в состоянии представить себе, что может быть иначе. Его указания были простыми: смотри, что делаешь, и будь последователен.

Родители прививали всем моим собеседникам добродетели самые элементарные; чтобы дать им определение, следовало бы подумать, но применение их на практике приходило само. Тадеуш Орловский был студентом, а потом ассистентом отца. По сей день он помнит замечание отца из лекции по диагностике о том, что у ребра нет «границ», но есть «берега». Абсолютная точность, которую он перенял от отца, мешает сегодняшнему профессору в жизни, потому что он очень буквально понимает то, что говорят ему люди.

Иногда мешает также привитая матерью привычка винить прежде всего себя, если случился конфликт. Все три профессора, мои собеседники, начинают в этот момент энергично махать руками, в один голос утверждая, что это же избитая истина:

— Порядочный человек только так и поступает, и всё.

Их поколение воспитано на принципах врачебной деонтологии — Орловские усвоили их в родном доме, в семьях врачей. Терапию (главный предмет в медицинском институте) они изучали по учебнику, который стал основополагающим трудом в истории польской медицины. Ольга Мёдушевская говорит, что это было не только пособие, сборник необходимых знаний по внутренним болезням, включавший «всё, что только можно было знать на тот момент», но и замечательный образец систематизации этих знаний, упорядоченности в соответствии с четкими схемами, невероятной добросовестности — первейшей из добродетелей врача.

— Взяв эту книгу в руки, я чувствовала, какой огромный труд вложил в нее дядя. Он писал том за томом своего труда от руки, очень мелко, без конца внося поправки.

Атмосфера в доме

Витольд Орловский придерживался, по мнению сына, скорее левых взглядов. К этому замечанию он тут же добавляет, что ни отцовские, ни его собственные взгляды, воспринятые от отца, никогда не имели ничего общего с коммунизмом. В этот момент нашей встречи возникла некоторая разница во мнениях между двоюродными братьями: Збигнев, которого после войны вывезли в СССР, отличается сдержанностью в отношении к любого рода левизне. По мнению Тадеуша, при демократическом устройстве государства каждый из граждан отказывается от части своих привилегий в пользу государства, которое, учитывая это, обязано служить гражданам, обеспечивая, в частности, медицинское обслуживание, возможно, и не для каждого бесплатное — если государство бедное.

Отцы обоих моих собеседников, как и все их поколение, были втянуты в политику, хотя и поразному. Витольд, действуя ради улучшения условий жизни в независимой Польше, работал в той области, которой сам занимался, то есть в сфере лечения и профилактики болезней. Политикой в узком смысле слова он не интересовался. Его брат Зенон принял участие в протесте интеллигенции против брестского процесса. Он подписал открытое письмо, за что польские власти того времени закрыли его клинику в Вильно, не имея возможности лишить его звания профессора, ибо оно было пожизненным.

Его дочь, профессор Ольга Мёдушевская, четко разграничивает коммунизм и социализм, который можно сочетать с принципами демократии. Эти воззрения она вынесла из дома, где с отцом, который был значительно старше матери (когда Ольга родилась, ему было 57 лет), они разговаривали мало, но его слова надолго запечат-

лелись в памяти. Он учил своих детей, что из десяти заповедей важнее всех та, которая призывает любить людей. И учил успешно, ибо именно эта мысль, по мнению пани Ольги, повлияла на то, что медицина определила весь ее жизненный путь. И добавляет:

— Если есть во мне какая-то глубинная порядочность, то это от отца.

В семьях Орловских молодое поколение формировали матери — ежедневным примером и заботой о сохранении верности идеалам. Жена Витольда, происходившая из семьи землевладельцев Третьяковских, исповедовала монархические взгляды, однако это не только не приводило к конфликтам, а, наоборот, делало семейные диспуты более оживленными.

Зенон Орловский привез жену из России, что вызвало некоторое возмущение. Она утверждала, что у нее незаконченное медицинское образование, но дети нашли документы, свидетельствующие о том, что она была старшей акушеркой. До конца жизни у нее оставались сложности с польским языком и сохранялся русский акцент. Она никогда не отрекалась от православия, но вместе с детьми по-польски читала ежедневную молитву, пела вечернюю молитвенную песню «Все наши дневные заботы», а польских колядок и стихов Ольга знает с детства больше, чем ее хвастающиеся своим чисто польским происхождением ровесники. На рождественскую мессу и пасхальную заутреню они отправлялись вместе с отцом в храм св. Казимира, гордые тем, что ведут его за руки, а когда он снимает шляпу, кланяясь знакомым, держат его трость. Из любви к ближнему, которой он учил детей, естественным образом возникала терпимость. Збигнев помнит, как отец отчитывал его — учащегося иезуитской гимназии — за язвительные замечания по поводу того, что мать не католической веры.

Моя беседа с тремя профессорами Орловскими была почти целиком посвящена воспоминаниям о поколении их отцов, в первую очередь о великом терапевте Витольде. А ведь у каждого из троих имеются свои крупные достижения (о Тадеуше я услышала больше всего), обширный круг учеников, но прежде всего несметное число пациентов, которым они вернули здоровье или спасли жизнь. Несмотря на пенсионный возраст они по-прежнему работают: Ольга Мёдушевская — в Институте им. Марии Склодовской-Кюри Варшавского онкологического центра, Тадеуш Орловский — в Институте трансплантологии Варшавской медицинской академии, Збигнев Орловский — в Лодзинской медицинской академии (он занимается нефрологией и так же, как его отец, бальнеологией). После смерти отца он привел в порядок и в значительной мере переписал заново его незаконченный учебник по этой специальности. Ему повезло в том смысле, что он имел возможность не только пользоваться замечательным образцом, каким является труд «Терапия» Витольда Орловского, но и обращаться в случае необходимости к дяде за советами, на которые последний никогда не скупился.

Произнося словосочетание «врач-гуманист», мы испытываем, как правило, сожаление. Сожаление, ибо уверены, что таких врачей уже не бывает. Мы используем это определение иногда несколько неверно, думая, что врач-гуманист — это тот, кто читает художественную литературу, ходит на концерты и выставки. Во время беседы с Орловскими мне не довелось узнать о том, что у кого-то из них есть хобби. Зато я услышала от Тадеуша Орловского, что идея учебника его отца (эта тема повторялась постоянно) была совершенно оригинальной. Каждый из томов, посвященных болезням какого-либо органа, состоял из двух частей: одна общая, содержащая методы исследования, диагностирования, принципы лечения и т.д., а вторая — более подробная. Первую часть учебника следовало выучить, во вторую заглядывать по мере необходимости. Автор повторял сыну, который был одновременно его ассистентом, что всегда надо идти от книги к больному и от больного к книге. Постоянное преодоление этого пути — и есть задача врача-гуманиста.

Я думаю, что сделала правильно, отдав молодым медикам учебник по терапии Витольда Орловского с заметками на полях, сделанными моим отцом. В их распоряжении находятся самые современные научные труды и такие же современные работы по этике их профессии. По отдельности. А в восьми слегка пожелтелых томах содержатся знания о том, как лечить людей.

Текст написан по материалам радиопередачи «Династии ученых», прозвучавшей в Программе BIS Польского радио в апреле 2000 г., опубликован в журнале «Форум академицке».

Антоний Марыльский

СТРАНИЦА МОЛОДОСТИ

Шел 1917 год, ознаменовавшийся для нас, живших тогда в России, великим событием — революцией. В те дни я находился в Петербурге, в Николаевском кавалерийском училище, куда меня откомандировали из Польской стрелковой бригады, — позднее на ее основе был сформирован корпус под командованием Юзефа Довбор-Мусницкого. С самого начала войны я был в армии, сначала российской, а потом, когда стали создаваться польские части, — в одном из двух эскадронов будущего полка Креховецких улан, откуда меня и направили в Петербург.

Николаевское кавалерийское училище было привилегированным военным учебным заведением России, сюда поступали юноши из богатых семей: высокопоставленных чиновников, помещиков и столичной интеллигенции. Эта молодежь, как правило, еще не нюхавшая пороху, была в большинстве своем безыдейной, лишенной патриотизма и совершенно не интересовалась процессами, происходившими в воюющей России, которые привели к революции. На фоне основной массы юнкеров заметно выделялась небольшая группа патриотически настроенных поляков, которые не только успели получить боевое крещение, но нередко имели приличный опыт участия в боевых действиях и хорошо разбирались в политической ситуации в стране. Понимая взрывоопасность создавшегося положения, наша группа приняла решение сохранять независимость и по мере возможности пытаться как-то включиться в новую жизнь.

Антоний Марыльский

Ворота училища, представлявшего собой большой комплекс зданий, плацев и манежей, тщательно охранялись, устав запрещал юнкерам контактировать с населением. О том, что творится в Петербурге, мы узнавали от своих ординарцев. И когда в середине марта из города послышалась беспорядочная стрельба, они сообщили, что произошла революция, Дума передала власть Временному правительству, и весь народ выступил против царизма. Мы, поляки, с нетерпением стремились навстречу переменам. Командование училища и подавляющее большинство русских юнкеров не разделяли нашего энтузиазма — в часовне всё так же пели хором «Боже, царя храни», вечером в окнах выставили пулеметы и раздали всем оружие, готовясь защищаться.

На следующий день мы явились на классные занятия с винтовками. Около десяти утра на Лермонтовском проспекте собралась огромная толпа, состоявшая из солдат, матросов и обычных горожан, с оружием всех эпох из только что разграбленного военного музея Адмиралтейства. Вид у них был угрожающий. До этого они убили юнкеров Инженерного училища, которые решили оказать им сопротивление. Пажеский корпус и другие военные учебные заведения были распущены. Теперь толпа, уверенная, что и мы не намерены сдаваться, шла громить наше училище, которое считалось реакционным.

Ворота были захвачены мгновенно, и вооруженная масса заполнила все пространство между зданиями и все манежи, беспорядочно паля по окнам аудиторий, где мы находились. Большинство юнкеров, которые никогда не участвовали в боях, упали на пол, а толпа воинственно митинговала, но никаких попыток проникнуть в здание не предпринимала, опасаясь вооруженного сопротивления. При виде лежащих вповалку юнкеров, спрятавших винтовки под кафедру, я, опасаясь бойни, которую мог спровоцировать любой неосторожный выстрел в сторону митингующих, высунулся в окно и крикнул матросам, чтобы они вошли внутрь.

Под пулями я выполз в коридор, где меня сразу же окружила разгоряченная толпа, не знавшая, чего ей ждать; мне приставили револьвер к виску, и тогда я сказал, что намерен объявить о капитуляции училища. Я отвел матросов и всех остальных в главный корпус, держа в руках кусок кумача, который мне дали. На втором этаже, где размещалось наше командование, был балкон с огромным окном, выходящим на площадь, заполненную народом. Одним ударом я разбил это окно — осколки со звоном посыпались на землю — и принялся размахивать кумачом. Собравшиеся внизу люди, увидев юнкера с красным флагом, сразу решили, что училище на их стороне. Ни у кого и мысли не возникло, что я действовал только на свой страх и риск. Толпа заколыхалась, в одно мгновение перейдя от агрессии к восторгу, и стала приветствовать юнкеров, затопила здание и окружила нас; начались братания; все вместе мы отправились в город.

Училище распустили, и я воспользовался возможностью провести первые дни революции в городе, бродя среди горожан, высыпавших на улицы и площади, и слушая речи случайных прохожих. Радость от падения царизма и избавления от рабства, надежда на лучшее будущее, свободу и братство, создавали вокруг атмосферу эйфории. Люди на улицах обнимались, все ожидали каких-то великих перемен, когда сбудутся самые сокровенные чаяния человеческого сердца. Политика сбросила свои лицемерные маски и вышла на улицу, уже сам народ требовал положить конец войне и отдать Дарданеллы, выдвигая лозунги «Свободу всем народам Российской империи!» и «За мир без контрибуций».

Я влился в эту революционную массу, дыша воздухом свободы и гуманизма. На улицах я находил те человеческие ценности, о которых раньше только читал в книжках. В поисках смысла жизни я прочел немало: всего Словацкого, Красинского, Мицкевича (особенно «Книгу польского пилигримства» и «Парижские лекции»), Толстого, Достоевского и всю современную русскую литературу; из философов я уже тогда знал Платона, Марка Аврелия, Канта, Бергсона и Ренана, Шуре*, а из наших — Здеховского**; наконец, изучил все, что нашел об объединении Италии и революции Гарибальди — эта тема меня особенно увлекала. Гуманитарные склонности, без сомнения, позволили мне глубже вникнуть в смысл исторических событий, коих свидетелем и участником я был. Мне казалось, что взрыв революционной энергии высвобождал лучшее в человеческой душе, стирая грани между сословиями и создавая атмосферу истинного единения — без ненависти, мстительности и классового антагонизма.

На происходящее я смотрел через призму Евангелия. Его я возил в кобуре своего седла всю кампанию***. Я был воспитан в католических традициях, но в те годы моя вера не нуждалась в посещении костела, который со стороны казался мне мертвым институтом, чьих обрядов и форм я не понимал, и поэтому не чувствовал в них потребности. Смысл христианства я видел в любви к ближнему, свободной от догматизма и каких бы то ни было организационных форм. Я находился под влиянием Толстого, который тоже отвергал земную организацию Церкви, умея любить простого человека, олицетворенного в миллионах солдат, которые, дезертировав с фронта, осаждали сейчас все вокзалы, заполняя улицы всех городов, где проходила железная дорога. Они тосковали по земле, которая помогла бы им вырваться из нужды, и жили надеждой освободиться от полицейского и бюрократического насилия, а также гнета со стороны помещиков и всего феодального строя царской России. Их чаяния были мне близки и понятны.

С такими настроениями я вернулся в полк, который был расквартирован в Бобруйске вместе с другими частями только что созданного корпуса генерала Довбора. Здесь я встретил двух своих товарищей, которые так же, как я, стремились жить по Евангелию. Вскоре Бобруйск был взят в кольцо Красной Армией. Это было испытание нашей веры — насколько искренне мы приняли Евангелие. Мы находились в польской армии, с сослуживцами нас связывала дружба, к тому же момент был самый напряженный. Мы были лишь маленьким островком в море революционно настроенных солдат и крестьян, которые, сбросив оковы царизма и рабства, хотели изменить свою жизнь и начать строить свою, новую

---

* Шуре Эдуар (1841-1929) — французский писатель, музыковед, философ. — Здесь и далее прим. пер.

** Здеховский (или Здзеховский) Мариан (1861-1938) — польский славист, историк литературы, критик, публицист и философ. См. «НП», 2003, №7-8.

*** Футляр для пистолета или револьвера появился в кавалерии, сначала его прикрепляли к седлу.

Россию. Нам же, чтобы вернуться в Польшу, пришлось бы с оружием в руках вырваться из осажденного города, воевать с теми, кто отстаивал свою свободу.

Русских солдат отличала врожденная доброта, христианский дух, чуткость, простосердечие, верность в дружбе, а также бессознательный героизм и фатализм, помогавший им сносить свою тяжкую долю, — я знал это по опыту общения с ними во время службы в русской армии и относился к ним с большим сочувствием. Я поддавался их обаянию, которое так убедительно показал Толстой в образе Каратаева и его безымянных товарищей в романе «Война и мир». И вот теперь мы, поляки, чужие на этой земле, оказались в окружении моих прежних братьев по оружию, которых я знал и любил. Евангельская заповедь велит любить каждого человека, и я не мог обойти ее! Вступить с ними в бой — значит убивать, и тут голос Евангелия, к которому я прислушивался наедине с собой перед лицом смерти, ходившей за мной по пятам, стал для меня велением совести. Пробил час испытания моей веры и моей трудной любви к Польше и к России, при том, что еще так свежа была память о первых революционных днях, проведенных в Петербурге, когда я ощутил подлинное братство с русским народом.

Получалось, что я, солдат, связанный присягой, хочу в осажденном городе предать свое знамя, выбрав очень удобную позицию: отказаться от участия в бою во имя ценности высшей, чем патриотизм. А ведь именно глубокое чувство патриотизма и заставило меня перевестись из русской армии в польские части. В Бобруйске я и мои товарищи оказались перед трудным и болезненным выбором, когда любое решение означало душевную раздвоенность и одиночество на предстоящем нам пути. Первый шаг на нем — заявить о своем кредо и, если потребуется, отдать за него свою жизнь. Предвидя военно-полевой суд, мы с тяжелым сердцем отправились к командиру, идейному вдохновителю создания нашей трагической армии на чужой земле, и объяснили свое решение. Командир, сторонник вооруженной борьбы за независимость Польши, оказался глубоким человеком, способным воспринимать чужие взгляды, — он не отдал нас под суд и разрешил снять мундир. Крепкое рукопожатие, благодарность, смешанная с сожалением солдата, вынужденного покинуть свой пост в минуту опасности. Вскоре нашему командиру было суждено пасть смертью храбрых на поле боя.

Перед отъездом из Бобруйска, уже выйдя из состава полка, я написал двоюродному брату, с которым мы вместе служили в русской, а позднее в польской армии: «С тех пор, как я начал думать самостоятельно, меня не покидала надежда найти смысл жизни. Через понятия Семьи, Дружбы, Любви, Общества, Народа — я пришел к чистой идее Христа. (...) Сначала она возникла скорее как предчувствие лучшей жизни, которой можно достичь благодаря этой идее, потом я встретил человека, который сумел полностью воплотить ее, позже я более углубленно раз-

ЗОФЬЯ МОРАВСКАЯ ОБ АНТОНИИ МАРЫЛЬСКОМ

С 1930 г. Зофья Моравская (род. 1904) связана с центром для незрячих в Лясках, где она занималась финансами и сбором пожертвований. Специально для читателей «Новой Польши» З.Моравская поделилась с Петром Мицнером своими воспоминаниями об Антонии Марыльском:

Это было в 1922 году. Антоний Марыльский изучал тогда философию в Варшавском университете у профессора Тадеуша Котарбинского. Находясь в постоянных поисках смысла жизни, он чувствовал неудовлетворенность тем, что давал ему Котарбинский. Знакомая студентка рассказала ему о реколлекциях*, которые проводил отец Владислав Корнилович. Сначала Антонию не хотелось туда идти, но девушка была славная, они дружили, и он решил составить ей компанию. Отец Корнилович не обладал какими-то выдающимися ораторскими способностями, часто уставал и тогда говорил медленно, с трудом. Поэтому не в красноречии его было дело, а в том, что на Марыльского снизошла благодать веры в присутствие Христа в Святом Причастии. Это изменило всю его жизнь. Позже, когда он исповедался у отца Корниловича, тот сказал ему, что просил матушку Эльжбету Чацкую молиться о его обращении.

Матушка Чацкая лежала в больнице после операции раковой опухоли. Он отправился ее навестить. Она излучала доброту — на Марыльского произвело огромное впечатление, что несмотря на свои страдания она приняла такое горячее участие в другом человеке. Матуш-

ка сообщила ему, что получила участок земли в Лясках, где скоро должно начаться строительство.

— Я мог бы приехать на несколько недель, помочь, — предложил он.

Приехал, да так и остался там на пятьдесят лет. Он занимался всем. Именно он строил Ляски, вел хозяйство, следил за работой воспитателей.

Домик, в котором я живу, как раз принадлежал ему. Он очень любил гостей, особенно молодых, они часто вместе что-нибудь читали и обсуждали. Иногда он выступал с докладами на ежемесячных встречах, которые мы устраивали для своих добровольных помощников, работавших с незрячими в Кракове, Вильне, Познани. И говорил он с ними не о проблемах тифлологии**, а о страдании. Марыльский читал много книг, в том числе по философии. Но в тяжелые минуты неизменно обращался к одной-единственной — это была «Война и мир» Толстого.

20 апреля 2006 г.
Записал ***Петр Мицнер***

Зофья Моравская

мышлял на эту тему — и, наконец, заметил, что чем сильнее я увлекался национальной идеей, тем более ограниченной она мне казалась. Так что, несмотря на внешнее впечатление, будто у меня есть цель в жизни, я не нашел ее в патриотизме. Не достигнув еще духовной зрелости, чтобы полностью осознать это, я заглушал в себе жажду жить в соответствии со своими убеждениями, продолжая трудиться на ниве патриотизма. Но чем больше я погружался в это, тем большую пустоту я чувствовал внутри, тем сильнее была во мне потребность всего себя отдать тому, что полностью отвечало бы моим устремлениям. Встреча с тремя единомышленниками укрепила меня в моей правоте, я почувствовал, что не одинок в своих исканиях. Поскольку я решил целиком посвятить жизнь исполнению заповеди Любви, мое дальнейшее пребывание в армии стало невозможным».

В том же письме я написал: «...наши пути разошлись, ты идешь сражаться за свои убеждения, а я — любить и прощать, тебе остается отечество, мне — весь мир со всей его нищетой, которой я отправляюсь служить. Мы будем помогать тем, кто чувствует правоту идеи Христа, но не находит в себе сил порвать с миром, мы будем проповедовать любовь к тем, кто нас ненавидит, везде бороться за Правду, страдать и умирать за нее».

Мне было 23 года, когда мы, оставив осажденный город и своих товарищей, отправились в Петербург в надежде, что нам удастся привнести христианские ценности в новый, на наших глазах рождающийся мир — ценности, которые были для нас главными и во имя которых мы отказались от службы в армии.

«Участник революции — ксендз». Такую шуточную надгробную надпись придумал себе Антоний Марыльский (1894-1973). Он был родом из помещичьей семьи. После событий, описанных в публикуемых нами воспоминаниях, он вместе с другим пацифистом, Юзефом Чапским, и его сестрами создал в революционном Петрограде своего рода фаланстер, чтобы воздействовать на духовное преобразование действительности.

Поздней весной 1918 г. все участники фаланстера уехали в Польшу. Закончив высшее образование в Варшаве и Париже, Марыльский вместе с м. Эльжбетой Чацкой и свящ. Владиславом Корниловичем участвовал в создании заведения для слепых детей в Лясках под Варшавой (см. «НП», 2004, №3). Всесторонне образованный, по склонностям философ, он руководил здесь, в частности, административными, повседневными делами. Он был строителем Лясок буквально и фигурально и прожил здесь полвека. Незадолго до смерти он был рукоположен.

Марыльский был поверенным многих людей, связанных с этим особым местом, в том числе и писателей — от Ежи Либерта до Збигнева Херберта. Попал он и в литературу — как прототип Виктора Рубена, героя новеллы Ярослава Ивашкевича «Барышни из Вилько».

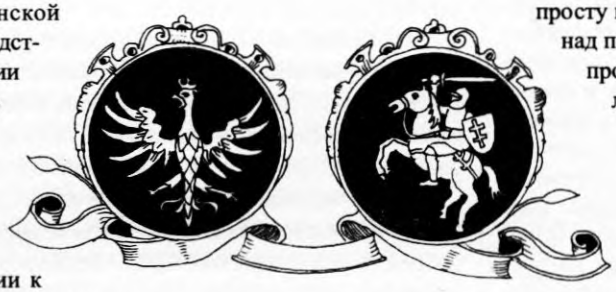
Среди немногих оставленных им текстов, находится и тот, перевод которого мы ныне публикуем. Оригинал был напечатан в 1970 г. в журнале «Знак».

* Реколлекции (от лат. recolligo — вновь собираю) — комплекс духовных упражнений у католиков с целью обновления духовных сил и углубления веры. Похожая практика у православных называется говеньем.

** Тифлология — отрасль знаний, объединяющая сведения из разных областей (медицины, психологии, педагогики, медицинской техники) для помощи слепым и слабовидящим всех возрастных групп.

Мариуш Сельский

ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ КАК ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ



«Дискуссия о Люблинской унии, ее истоках и последствиях — это на протяжении многих веков один из ключевых вопросов в истории белорусско-литовско-польско-украинского сосуществования, — писал Ежи Клочовский во введении к сборнику статей и материалов, посвященных рассмотрению Люблинской унии с этой точки зрения. — Чрезвычайно важно, чтоб все мы научились смотреть на унию (...) как на существенный и интересный раздел европейской истории».

Действительно, нелегко найти историческое событие, которое в большей степени определило бы национальный облик белорусов, литовцев, поляков, украинцев. Нелегко найти и предмет более горячих споров, и — парадоксальным образом — лучшее доказательство нашей общей принадлежности к западной цивилизации. Восхваляемая как «специфически польское решение самых глубоких, общечеловеческих вопросов сосуществования государств и наций» (О.Халецкий), а иногда проклинаемая как проявление феодального экспансионизма, Люблинская уния — единственный такого рода опыт в истории наших народов. Опыт, который нас объединяет, одновременно сближая с объединяющейся Европой.

Когда мы говорим о Люблинской унии как предшественнице нынешнего Евросоюза, в Европе не всегда оценивают силу наших аргументов, а очевидные для нас аффилиации и сходства редко находят там понимание. Это происходит главным образом из-за того, что, сформировавшись под сильным влиянием национальных концепций истории, мы не всегда умеем рассказать о «ягеллонском проекте» так, чтобы это было доступно и понятно людям, не принадлежащим к нашему кругу. Нам необычайно трудно найти такой подход, который позволил бы увидеть новаторство и жизненность решений, принятых на Люблинском сейме в 1569 году. Те же трудности мы испытываем, когда вступаем в диалог с ближайшими соседями — как и мы, участниками проекта. Речь идет не о неизбежно возникающих поверхностных сравнениях: они остаются рискованными и попросту внеисторическими. Труды над польско-литовским союзом продолжались почти два столетия и в момент подписания Люблинской унии отнюдь не завершились. О.Халецкий отмечал еще в 1920-х: «Как Ягеллонская уния созревала на протяжении двух веков, так же на протяжении двух веков пришлось созревать и ягеллонскому наследию». В замечательном труде Ю.Бардаха, охватывающем историю Речи Посполитой времен унии «От акта в замке Крево до взаимной поруки обоих народов (1385-1791)», ясно показано, что Люблинская уния была скорее процессом, чем одноразовым политическим актом. Так же, впрочем, как и Евросоюз, который проходит становление практически на наших глазах...

Прежде чем созвать Люблинский сейм

О.Халецкий, С.Кутшеба, Ю.Бардах, ученые, которые больше и проницательней других писали о Люблинской унии, в одном вопросе согласны друг с другом. Важность решения, принятого на Люблинском сейме в 1569 г., невозможно увидеть, не осознав, какой характер носили более ранние польско-литовские отношения (с 1385 г., когда была подписана первая, Кревская уния). Вообще говоря, до 1440 г. во всех документах Литва рассматривалась как составная часть польского государства: поначалу не различали таких правовых понятий, как присоединение (включение в состав), личная (персональная) и реальная уния. Все они считались «унией», т.е. союзом. Точная формулировка понятий и более глубокое их понимание появились довольно поздно — лишь в XVI веке. Расхождения же вырисовывались, когда приходилось объяснять характер этого союза. Договор, подписанный в замке Крево, предполагал инкорпорацию Великого княжества Литовского, не уравновешивая этого, как указывал, например, О.Халецкий, никакими обязательствами польской стороны. Договоры, заключавшиеся впоследствии: Радомско-Виленская уния (1401), Городельская уния (1413) — уже предполагали значительную степень обособленности Литвы. В 1440 г. Казимир Ягел-

Rys. Ignacy Czwartos

лон был посажен на великокняжеский престол без согласия короля и польских панов. Это означало разрыв договора. За 1440-1499 гг. не было составлено ни одного акта, определяющего взаимные отношения. Оба государства, как указывал С.Кутшеба, соединяла только личная уния. Переговоры о новой унии были возобновлены в 1478 г., но решительный перелом произошел лишь в 1501 г., когда была подготовлена т.н. Мельницкая уния. Однако она стала предметом раздора, и Литва так никогда ее и не признала. Следует все же не забывать, что решения и формулировки, приятые в акте этой унии, были почти целиком использованы при составлении текста Люблинской унии. Как указывал С.Кутшеба, замечательный знаток вопроса, в 1501-1569 гг. Королевство Польское и Великое княжество Литовское соединяла только личная уния. Потому-то политические верхи обоих государств и стремились к «возобновлению» договоренностей о союзе.

Период приспособления

«Любовь, согласие, единство, то, что предки наши унией звали». Эти слова произнес Сигизмунд Август в тот день, когда была закончена работа над актами Люблинской унии. Ее справедливо считают духовным завещанием короля — ценнейшей частью наследия Ягеллонов. Сигизмунд Август не сразу присоединился к лагерю реформ. Это произошло лишь в 1562 г., когда он поддержал «исполнительную партию», считавшую, что король сделает свою власть легитимной лишь тогда, когда в жизнь войдут утвержденные им привилегии, обещанные в присяге 1537 года. Польско-литовский союз они считали «первейшей, главнейшей статьей», требующей исполнения. Предлагали неотложно начать переговоры, причем польская сторона исходила из того, что достаточно произвести инкорпорацию Литвы. Но король тянул с созывом литовского сейма. Считалось, что он намеренно затягивает заключение союза, защищая свои династические интересы (Великое княжество Литовское было его наследственным владением).

Это мнение не находит подтверждения в фактах. Сигизмунд Август, утверждает О.Халецкий, «хотел дождаться, пока литовская шляхта, по отношению к которой он исполнял в политической жизни роль прямо воспитательную, достигнет достаточной зрелости, чтобы понять необходимость союза и вытекающую из него пользу». Литва намного отставала от Польши с точки зрения внутреннего устройства. По инициативе короля проводилась в жизнь программа «приспособления», в рамках которой в Литве было введено земское судопроизводство и шляхетские сеймики. До конца она была осуществлена только к 1566 году. Эта реформа окончательно сравняла устройство обоих государства. Вместо прежних наместничеств были введены воеводства, разделенные на поветы. По второму Литовскому статуту (1566) были созданы поветовые сеймики по образцу земских сеймиков в землях Короны [Королевства Польского]. В сеймиках, которых в Литве было 24 (из 70-ти во всей Речи Посполитой), решения принимались по принципу единогласия (как в общем сейме), но допускалось и решение большинством голосов. Со временем все литовские сеймики приняли принцип решения большинством голосов (не так, как в Польше). Каждый сеймик посылал двух депутатов на общий сейм. В поветовых городах были созданы земские, градские суды и суды по пограничным спорам, что, опять-таки по польскому образцу, отменяло привилегии магнатов, которые до тех пор подлежали исключительно юрисдикции великокняжеского суда. В Литве, как и в Польше, происходило постепенное ограничение княжеской власти, вводилось выборное начало.

Одновременно шел вперед процесс сближения социальной структуры. Он был заложен актом Городельской унии (1413), по которому 47 семей польской шляхты приняли в свои гербы 47 семей литовских панов и бояр. Так же, как в землях Короны, в Литве ведущую роль начали играть два сословия — средняя шляхта и влиятельные магнаты. Всему этому сопутствовала культурная ассимиляция, которую Ю.Бардах обычно называл термином «инкультурация» (в отличие от акультурации, исключающей равноправие). Углублялась, как это назвал Халецкий, «жизненная общность» в политической сфере и культуре и «идейная общность» — как результат трудов по христианизации.

Применение польских образцов было для Литвы в высшей степени выгодно, на что первым обратил внимание С.Кутшеба. Тамошнее устройство «не возникло путем эволюции, как в коронных землях, а было результатом обдуманного восприятия, в результате чего оно было проще, рациональней и последовательней». На сегодняшнем языке мы назвали бы период, предшествовавший заключению Люблинской унии «предвступительным» ввиду сходства с недавним этапом стара-

ний Польши о вступлении в Евросоюз. Опыт Люблинской унии учит, что применение решений, разработанных на иной почве, может повлечь за собой качественную их модификацию.

Люблинский сейм

Сейм был созван королем на 23 декабря 1568 г., а закончил заседать только 12 августа 1569-го. Это был первый сейм такой длительности в истории Речи Посполитой. Переговоры с самого начала шли с трудностями. В начале января был официально открыт коронный сейм в Люблине и литовский, заседавший в Вогыни — неподалеку, но уже на территории Великого княжества Литовского. К концу января литовский сейм перенес свои заседания в Люблин, но продолжал заседать отдельно. Депутаты и сенаторы обоих народов лишь время от времени собирались на общие заседания. Шло согласование текста. Как вдруг, «в зимнюю вьюжную ночь, перед самым рассветом 1 марта 1569 г., виднейшие представители Великого княжества Литовского покинули Люблин». У поляков это вызвало потрясение. «Литовские депутаты разъехались и дали знать, что больше не хотят ни вести с нами переговоры, ни принимать решения об унии», — эти слова Сигизмунда Августа, произнесенные в зале заседаний, лучше всего передают состояние духа, в какое погрузился весь польский лагерь.

Однако с этого момента события стали развиваться молниеносно. Несмотря на отсутствие литовцев, польский сейм в Люблине не прервал заседаний. Депутаты из Великопольши внесли предложение об инкорпорации Волыни, Подлесья, Брацлавщины и Киева в состав земель Короны. Шляхта Руси [Украины] получила те же права и привилегии, которыми обладала коронная шляхта, что встретило понятный восторг у украинской и огорчение — у литовской. Украинские земли не пожелали возвращаться под юрисдикцию Великого княжества Литовского. Взволнованные этим литовцы решили возобновить переговоры. Новоизбранные поветовые сеймики направили новых депутатов в литовский сейм.

В начале июня литовский сейм прибыл в Люблин. После переговоров, продолжавшихся около двух недель, решение об унии было принято. В первые дни июля ей принесли присягу.

Конституционно-правовой порядок

Принятые в Люблине «Акты сословий коронных и литовских» написаны были по-польски, в одинаково звучащих вариантах, с перечислением всех участников как подписантов документа. В них было постановлено, что «Королевство Польское и Великое княжество Литовское есть единое нераздельное и неразличимое тело (...) одна общая Речь Посполитая, которая из двух государств и наций в один народ сошлась и слилась». В «Актах» точно определялась область общих полномочий, чем утверждался фундамент устройства Ягеллонской унии (ее «первый столп»). Общие полномочия сводились к трем основным пунктам:

— общие выборы общего властителя («а тому обоему народу, чтобы уж на вечные времена одна голова, один господин и один король общий приказывал, который совместными голосами от поляков и от Литвы избран»);

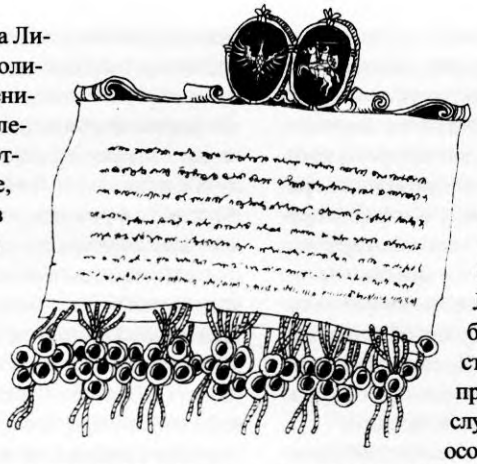
— общий Сейм («сейм и советы этот обоий народ должен всегда иметь общие»):

— общая оборонная и внешняя политика («во всех противностях общей помощью мы, обоего народа все сословия, помогать друг другу должны всеми силами и возможностями»).

Вышеназванные принципы вместе с договорами, которые заключал избранный король со шляхтой, и кардинальными правами шляхты определили правовой порядок устройства Речи Посполитой Обоих Народов. Они представляли собой нечто вроде основного закона, на который ссылались все конституции, «вечные» и «временные», утверждавшиеся Сеймом после 1569 года. Эти конституции были общими, что подчеркивала формулировка «на Великое княжество Литовское распространяется», но нередко издавались и отдельные конституции для Литвы. Начиная с 1581 г. действовал отдельный литовский суд. Закрепился такой обычай, что перед заседанием общего сейма (170 депутатов) представители Литвы (48 депутатов) собирались на отдельный генеральный сеймик в Волковыске, где обсуждали текущие дела. Зато, когда сейм не собирался, созывали т.н. Виленскую конвокацию (продолжение литовского сейма, каким он был до заключения унии), которая хоть и противоречила постановлениям Люблинской унии по вопросу сейма, но сохранялась вплоть до начала XVIII века.

«В той форме, какую ей придали в Люблине, польско-литовская уния представляла собой компромисс, обеспечивающий устойчивость политического союза. Одновременно он гарантировал внутреннюю самостоя-

тельность Великого княжества Литовского в рамках Речи Посполитой Обоих Народов. Проявлением этой особости, наряду с элементами устройства, предусмотренными в самом документе, была практика», — написал в своем замечательном труде Ю.Бардах. То, что такой компромисс удалось выработать, позволило сохранить преемственность Речи Посполитой, подчеркивают обычно историки. Важно было, однако, и то, что вместе с заключением Люблинской унии закрепилось политическое поведение, выражающееся в открытости, уважении к чужим особенностям и готовности поддерживать творческий диалог. Это лучше всего видно на примере решений, принятых относительно маршалов палаты депутатов. Поскольку сейм должен был собираться на землях Короны (предложение, чтобы один из двух раз сейм собирался в Вильно, не было принято), постольку вопрос «разграничения полномочий коронного и литовского маршалов имел ключевое значение». В 1572 г. король дал распоряжение, подтверждающее равноправие обоих маршалов. Они председательствовали на заседаниях парламента поочередно.



Все историки признают, что создание общих институтов, прежде всего сейма, ввело в союз обоих государств элемент реальной унии. То, что одновременно сохранялась двойственность исполнительной власти в отдельных учреждениях, сути дела не нарушало. Исполнительная власть, по крайней мере формально, была подчинена контролю сейма. Если же сейм не всегда умел пользоваться своими контрольными полномочиями, то отнюдь не по причине порочных принципов устройства, а из-за того, что дело реформ не было доведено до конца (заново за них взялись в ходе работ над конституцией 3 Мая). Тут стоит отметить важнейшую черту устройства Речи Посполитой — ее стабильность. Почти три столетия (1454-1763) это устройство не подвергалось существенным изменениям, что имело свои хорошие и дурные стороны.

Гармонизация правовых систем

Размышляя о причинах, по которым политические верхи Польши и Литвы решили урегулировать свои взаимоотношения, нельзя забывать, что подписание Люблинской унии стало увенчанием длительного процесса гармонизации права в Речи Посполитой. Важнейшей целью реформ, предпринятых во второй половине XVI века, было теснее объединить в рамках унии все земли, которые вследствие различного прошлого сохранили свои правовые и институциональные особенности.

Тогдашний расцвет правовой культуры захватил в свои рамки и Великое княжество Литовское, где в 1529, 1566 и 1588 гг. были проведены три кодификации Литовского статута. Это явление не было изолированным. Во многих странах Европы в то время был предпринят аналогичный труд. Однако случай Литвы и Украины все-таки был особым. В связи с заключением унии и инкорпорацией украинских земель им доставались правовые достижения Польши на тех же основаниях, на каких сегодня странам-кандидатам ЕС достается «acquis communautaire». Вместе с коронным правом в Литве поселилось римское право.

О том, как далеко зашел процесс сближения правовых систем обоих членов унии, свидетельствует растущее употребление польского языка в литовском судопроизводстве и законодательстве. Это не был всего лишь побочный результат полонизации. Все более распространявшееся применение польского языка в литовском праве и судопроизводстве после заключения унии считалось естественным, ибо кодификацию и совершенствование правовой системы рассматривали как область общих достижений. Вслед за Юлиушем Бардахом можно вспомнить, что третий Литовский статут использовался также как вспомогательное право на территории Короны, «когда в польском праве недоставало соответствующего предписания или когда суд признавал его неясным либо устарелым». Первый вариант статута был написан на «русском» [старобелорусском] языке. Однако уже в 1614 г. появился его перевод на польский язык, положенный в основу всех позднейших изданий. Именно этим переводом повседневно пользовались в Литве. Вопрос языковых предпочтений (латынь, польский, «русский») с самого начала воспринимался как второстепенный. Уже при составлении актов Люблинской унии постоянно применяли принцип: «кто хочет по-русски — пусть будет по-русски, а кто по-польски — пусть по-польски».

Хотя в третьем Литовском статуте Люблинская уния совершенно не упоминалась (например, в отношении властителя постоянно использовался термин «господарь»), он парадоксально больше всего сблизил литовское законодательство с коронным. Например, в него был целиком включен текст «конфедерации» (1573) о мире между вероисповеданиями («pax inter dissidentes in religione»). В указе Сигизмунда III

Вазы, предшествовавшем вступлению в силу этого закона, содержалось предупреждение, что «этот новоисправленный статут союзам и актам унии ни в чем противоречить и ни в чем их нарушать не должен». Этим подтверждается тезис, согласно которому авторам Ягеллонской унии было важно создать общее правовое пространство, в котором наряду со сферой прямого применения права Речи Посполитой существовало пространство, где применялось местное право — однако согласованное с первой сферой и не противоречащее ей. В актах Люблинской унии об этом говорилось так: «все статуты и законы, какие бы то ни было и по какой бы причине против польского народа в Литве принятые, — никакой силы не имеют».

В этом контексте стоит напомнить, что в люблинских актах было гарантировано право шляхты Литвы и Украины подавать апелляции в королевские суды и что в 1578 г. король отказался от права верховного судьи в пользу Коронного суда, который стал судом верховной инстанции. Аналогичный Литовский суд был создан в 1581 году.

«Уния политических наций Польского Королевства и Великого княжества Литовского пыталась провести в жизнь общественно-гражданскую систему, основанную на принципе помощи», — пишет Е.Ключовский. В ее рамках не только миллионная шляхта пользовалась законно гарантированными личными свободами, но «правами и свободами различного уровня автономии обладали тысячи крупных и малых городских общин и сельских обществ».

Внешняя и оборонная политика

Кревская, Виленско-Радомская и Городельская унии ликвидировали источники конфликтов между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским. Причинами прежних войн были споры о границах и различная стратегия по отношению к государству крестоносцев. Эти причины утратили силу, когда была выработана общая политическая линия по отношению к ордену крестоносцев, контролируемая общим властителем. Споры о границах и рамки суверенитета Литвы в условиях унии не имели особого смысла. Однако польско-литовское государство с самого начала подвергалось военной угрозе извне — нарастающей вместе с ростом значения и могущества Великого княжества Московского. Этот фактор сыграл важную роль в период между Мельницкой и Люблинской униями, в известном смысле ускорив завершение работы над окончательным заключением союза.

«Московская война несомненно была одним из самых сильных импульсов, которые повлияли на то, что примерно с 1562-го года стремление укрепить унию исходит уже не только от поляков, но и от литовцев», — пишет О.Халецкий. Постулат общей оборонной и внешней политики (то, что в Евросоюзе называют «вторым столпом») нашел в это время большое число сторонников среди литовской средней шляхты, на плечи которой ложилась главная тяжесть войны с Москвой. Решительный поворот произошел в 1563 г., после того как войско Ивана IV завоевало Полоцк. Несмотря на более поздние победы Миколая Рыжего Радзивилла литовская шляхта потеряла тогда веру в успешность обороны собственными силами и стала стремиться к заключению более тесного союза с Польшей.

Польская позиция уже много лет была неизменной. Еще во времена первых Ягеллонов большинство коронной шляхты считало, что Литва, будучи в силу предыдущих договоров об унии законно включена в королевство («de corpore regni»), «должна получать защиту от врага, коего мы своим почитаем». Но раз литовцы, отвергнув Мельницкую унию, оттягивали возобновление договоренностей о союзе, то польская сторона заняла позицию, согласно которой она предпримет военные действия только в том случае, если уния «былых времен» (т.е. 150-летней давности) будет возобновлена.

Слово было сдержано. Почти сразу после того, как литовская сторона вступила в переговоры об унии, в Польше начали собирать войска, «чтобы наилучшим образом панам Литве помочь». Из этого ничего не вышло, так как сейм, несмотря на благоприятные обстоятельства для войны с Москвой, постановил предложить ей перемирие. Вопрос «общей и сторожевой обороны» был отложен для более подробного рассмотрения в будущем. В литовском сейме постановили только, что литовское войско со своим знаменем и гетманом будет вместе с коронным войском подчинено королю, главнокомандующему вооруженными силами. На практике функции верховного командующего выполнял великий коронный гетман, соединяя, как пишет С.Кутшеба, «полномочия главнокомандующего и военного министра, а также соруководителя внешней политики по отношению к Турции, Крыму, Молдавии и Валахии, где великий коронный гетман держал своих резидентов».

Решение о сохранении отдельного литовского войска не подрывало общей оборонной политики Речи Посполитой — наоборот, скорее укрепляло ее. Такого рода разграничение, идя рука об руку с принципом общего командования, заставляло разрабатывать эффективные механизмы взаимодействия. Разделение задач и полномочий должно было стать ясным, а обе армии следовало приспособить друг к другу в оперативном отношении. Если же учесть, что Литва потеряла всякий интерес к обороне южных границ после инкорпорации Брацлавщины, Киева и Волыни в коронные земли, а единственную угрозу усматривала на северо-востоке, то легче понять, что обособленность обеих армий соответствовала их территориальному охвату и специфике оборонительных задач.

Включив украинские земли, Королевство Польское изменило свой этнический состав и одновременно — впервые в своей истории — получило общую границу с Москвой (навязывая ей довольно тяжкое соседство). Турецкая угроза на юге и московская на востоке требовали увеличить расходы на армию. Сохранить военную обособленность каждого из государств, входящих в унию, означало принять ответственность (в том числе и финансовую) за оборону конкретной территории. Королевство тратило средства на оборону южной границы издавна. Начиная с 1503 г. великий коронный гетман одновременно командовал частями сторожевой обороны на Украине. Принятие унии закрепило это положение вещей, но изменило принципы организации армии. Наделение коронными привилегиями всей шляхты, в том числе и шляхты с инкорпорированных южных земель, означало освобождение тамошнего боярства от воинской повинности. Таким образом, систему следовало строить заново, опираясь на призывные войска. За это принялись сразу после окончания Люблинского сейма. Уже в 1570 г. была проведена детальная инспекция сторожевых замков на Киевщине.

Внешняя политика в польско-литовской федерации была предметом «общих» полномочий: за нее отвечали король и сейм, в прерогативы которого входило заключение договоров и перемирий. Тем не менее еще во время Люблинского сейма возникла традиция создания так называемых великих посольств в Москву из представителей Литвы и Польши. Так же обстояло дело, когда речь шла о канцлерских полномочиях. Сложилась традиция, что коронный канцлер отвечает за внешнюю политику по отношению к Западной Европе, а литовский — за отношения с Московским государством. (В этом контексте можно подумать о той роли, которую могут сыграть Польша, Венгрия и Чехия в формировании восточной политики ЕС.) Однако надзор за внешней политикой в целом принадлежал королю.

Экономическая общность

Процесс формирования интегрированного пространства в бассейне Вислы, начатый обретением Хелмской земли и Гданьского Поморья (1454-1466), вступил в решающую фазу в эпоху Люблинской унии. Важнейшей трудностью, с которой тогда пыталась справиться Речь Посполитая, был неравномерный уровень развития отдельных районов и слабость торговых связей между ними. У каждого региона была своя традиционная «специализация». Это сохранилось и после объединения двух государств. И все же подписание унии оживило торговый обмен и повлекло за собой серьезное улучшение транспортной сети.

Быстрее всего унификация рынка шла в сфере сельскохозяйственной продукции. Ввиду конъюнктуры, господствовавшей на зарубежных рынках, а также заинтересованности шляхты, которая видела в торговле зерном достойное для себя занятие, создание целой сети системных связей в этом секторе оказалось не слишком трудным. Экономическая общность Ягеллонской унии была «зерновой общностью». Совпадение колебаний цен на зерно в Кракове и Гданьске, Варшаве и Люблине в тот период явно подтверждает этот тезис.

Выравнивание различий между отдельными регионами (включенными в коронные земли непосредственно, остававшимися с Королевством Польским в унии, как Литва, или же входившими в Речь Посполитую на ленном принципе) было нелегкой задачей. Территория государства разрослась тогда до самых крупных размеров. После Ямского перемирия она составляла 815 тыс. кв. км, а после Поляновского мира (1634) — 990 тысяч. Население его составляло 7,5 млн. человек. Важнейшим достижением Люблинской унии в экономике была отмена таможенных платежей (таможенная уния), что открывало путь к введению единых принципов организации рынка. Литовцы получили право судоходства по Висле, чтобы вывозить свою сельскохозяйственную продукцию, а также лес и кожу, в чем они специализировались. Выгоды получили и поляки. Были окончательно отменены прежние литовские законы, запрещавшие коронной шляхте приобретать поместья на территории Литвы. Литовцы же получили право поселяться в

Польше. «Чтобы можно всегда было как поляку в Литве, так и литовцу в Польше всяким справедливым обычаем получать имущество и содержать его по законам, в [рамках] которых лежит это достояние», — говорится в актах Люблинской унии. Предложения ликвидировать ограничения свободного обмена товаров и услуг и ввести закон о поселении и приобретении земель повторялись при каждой попытке обновить унию (например, в ходе работ над Мельницкой унией). Окончательно это удалось осуществить только при подписании Люблинской унии (глядя с сегодняшней перспективы, можно сказать, что с тех времен длительность переходных периодов сильно сократилась).

Еще одним фактором, способствовавшим преодолению барьеров, было распространение хозяйства фольваркового типа на всю территорию Речи Посполитой и сопутствовавшее ему введение в Литве и на Украине «волочной померы»*. Это создало основу для распространения новой аграрной системы на все объединенное государство. Как введение в украинских городах магдебургского права, на что обратил внимание Ю.Бардах, так и введение «волочной померы» прочно соединило территорию Литвы с западным миром. «Территориальный охват «волочной померы» — это охват тогдашней рыночной экономики в Европе», — с таким тезисом выступил в 1999 г. на конференции в Люблине, посвященной Люблинской унии, Анджей Вычанский.

Пример Евросоюза подтверждает тезис, согласно которому экономическая интеграция тесно связана с политической. Сложный характер этой взаимозависимости еще не до конца изучен, однако известно, что политической интеграции обычно предшествует длительный процесс экономических преобразований, обретающих в процессе интеграции новый импульс. Люблинская уния была увенчанием реформ исполнительной власти, начатых накануне ее подписания. Совершенным новшеством при проведении этих реформ было создание отдельной государственной казны (ср. общий бюджет ЕС), основанной на доходах от королевского достояния. Королевство Польское перестало быть наследственной монархией. Была обеспечена стабильность общественного достояния с помощью осуществляемого сеймом контроля доходов, которые оно приносило. Из этих-то источников и должна была финансироваться общая оборонная политика. В согласии с постановлениями сейма (1562-1563) специальные комиссары, представляя сословия, то есть короля, сенат и палату депутатов, должны были оценивать доходы от королевского достояния. Было также принято правило, что одну пятую чистого дохода должны были получить старосты, управляющие имуществом, а четверть оставшегося (плюс четверть доходов короля от податей) должна была идти на содержание армии. В конце концов, уже после подписания Люблинской унии, контроль доходов перешел в ведение Казенного суда.

Будущее королевского достояния в Великом княжестве Литовском относилось к самым трудным вопросам переговоров. Литовская сторона считала, что привилегия, данная в 1504 г. королем Александром польской шляхте, не может быть применена к Литве. В конце концов было принято решение, соблюдавшее особый характер Литвы, и в самой обширной статье актов было записано, что «никакие коронные конституции вокруг достояния королевского не будут иметь применения в Литве, где все пожалованья господарские (королевщины) «от начала унии» останутся ненарушенными и только в будущем раздача королевских имений должна прекратиться». Лишь в 1590 г., после утверждения конституции, по которой в королевском достоянии были выделены экономии, арендуемые за установленную сумму, а не за часть дохода, положение переменилось. Новое право действовало как в Польше, так и в Литве.

Отец-основатель Люблинской унии

Сегодня мы знаем, что О.Халецкий в своей «Истории Ягеллонской унии» преувеличил роль Сигизмунда Августа, считая его главным автором договора. В работе над принципами унии не меньшую роль сыграла политическая воля средней шляхты (как польской, так и литовской), остро соперничавшей с магнатами. Проект более тесной интеграции означал для нее возможность более полного пользования правами, свободами (в том числе экономическими) и привилегиями. Важным было также активное участие экзекутивной партии (рьяных сторонников правопорядка).

Это, однако, не уменьшает заслуг короля. Он отказался от своих наследственных прав на Литву в пользу Польши и выступил за одну коронацию (в Кракове). Выступил он также за создание единого корпуса

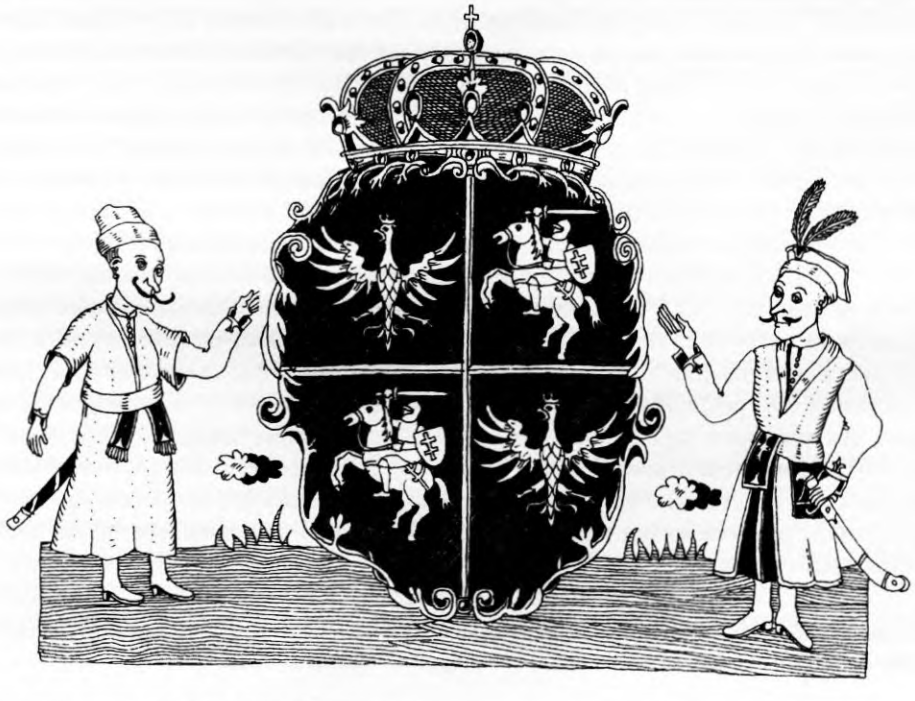
* Волочная помера — обмер и передел земель в великокняжеских и частновладельческих имениях в Великом княжестве Литовском с целью размежевания великокняжеских и боярских земель и возвращения великому князю земель, захваченных боярами. В.п. была первым земельным кадастром. Ее проведение увеличило доходы казны. По В.п. каждый крестьянский двор получал участки размером в 33 морга. Для исполнения барщины среди крестьян распределялось столько волок (волока — главная поземельная мера в Великом княжестве Литовском, равная 30 моргам, или 19,5 десятины), чтобы одной волоке фольварковой (господской) и дворовой земли соответствовало семь крестьянских волок. Крестьяне с волоки работали два дня в неделю на барщине, а также несли натуральные и денежные повинности. — *Прим. пер. по Википедии.*

королевских чиновников, зная, что общественная устойчивость и привлекательность Люблинской унии будут зависеть от компетентности и эффективности лично ему подчиненной гражданской службы. В согласии с его волей чиновники в Литве получали статус королевских чиновников.

В деле созидания польско-литовской унии Сигизмунд Август сыграл важную роль. «Ничего утешительней для меня произойти не могло», — якобы сказал он сразу после подписания договора. А потом, «хоть претерпевал мучения от камня, король как бы возродился душой и телом. На следующий же день, на святых Петра и Павла, был на двух богослужениях, где проповедники напоминали людям благодарить Господа Бога. Король же в костеле при замке сам пел «Te Deum». Свой акт унии король принял 4 июля 1569 г. (акты отдельно принимало каждое сословие обоих народов: король, сенаторы и представленная в палате депутатов шляхта). Перед этим он принял присягу польской и литовской делегаций. Летописец отметил, что, когда присягали литовцы, польские сенаторы разрыдались. Несмотря на проливной дождь король шел во главе польско-литовского крестного хода в костел францисканцев, где вновь — к неудовольствию иноверцев — первым запел «Te Deum».

Ему было за что благодарить, так как на его глазах совершилось то, к чему стремились почти все его предки на польском троне. То, что уже тогда возбуждало всеобщее восхищение.

Польско-литовская уния прожила в той форме, которую ей придал Люблинский сейм, почти два века. Результаты «ягеллонского проекта» видны, однако, и по сей день на всей территории былой Речи Посполитой. Правы те, кто утверждает, что граница западной цивилизации отодвинулась к востоку. «Существует отчетливая линия, отмечающая, куда дальше всего распространилась западная культура, — писал несколько лет назад Ален Безансон. — За ней европейские способы хозяйствования подвергаются так далеко идущим деформациям, что их воистину трудно узнать. Значит, можно сделать вывод, что там и кончается Европа». В сфере политической культуры Люблинская уния проложила дорогу Центральной и Восточной Европе к западной системе ценностей: она определила постоянную точку отсчета для народов этой части континента. Потому-то так сильно их тяготение к Западу. В региональных же масштабах уния обеспечила равномерное и динамичное развитие институтов государственной и общественной жизни и экономический рост во всех странах, которые решили принять участие в проекте. Не того ли мы ожидаем и от нашего участия в Евросоюзе?



Гульжаухар Кокебаева

КАТЫНСКОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИЯХ СССР И ПОЛЬШИ

Историография II Мировой войны охватывает большое количество исследований — монографий, коллективных трудов и статей. Однако до конца 80-х годов и в ней существовали «белые пятна», одним из которых было катынское дело. В конце 80-х власти СССР официально признали преступление НКВД, уничтожившего в 1940 году в Катынском лесу [и в других местах — *Здесь и далее в квадратных скобках и сносках прим. ред.*] более 15 [по более поздним данным — около 22] тысяч польских офицеров — интеллектуальной элиты польского общества. С тех пор в России, Польше и западных странах интенсивно публикуются сборники документов, монографии и статьи, посвященные этой проблеме*.

Многовековая борьба польского народа за независимость завершилась созданием в 1918 г. Польской Республики. Однако две соседние державы — Россия и Германия, — неоднократно участвовавшие в разделах польских земель, не отказались от своих старых притязаний. В 1939 г. нацистская Германия и СССР осуществили четвертый раздел Польши. 14 августа 1939 г. министр иностранных дел Третьего Рейха Й. фон Риббентроп через германского посла в Москве В. фон Шуленбурга сообщил В.Молотову, что нет таких вопросов, включая проблему Прибалтики, Польши и Юго-Восточной Европы, которые не могли бы быть урегулированы двумя странами. Обсуждение этих вопросов завершилось подписанием 23 августа 1939 г. договора о ненападении и секретных протоколов о разделе Польши, Прибалтики и Юго-Восточной Европы на сферы влияния.

1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу началась II Мировая война. 3 сентября, выполняя свои обязательства перед Польшей, Великобритания и Франция объявили войну Германии. Следуя условиям упомянутых секретных протоколов, советские войска должны были занять территорию Польши восточнее Вислы, Нарева и Сана. 14 сентября 1939 г. В. фон Шуленбург в своей телеграмме в германский МИД сообщил, что советскому руководству необходимо обосновать вступление советской армии на территорию Польши «разгромом польского государства и необходимостью защиты родственных народов». 17 сентября советские войска перешли границу Польши. Впоследствии в своем выступлении на внеочередной 5-й сессии Верховного Совета СССР В.Молотов сказал: «Наши войска вступили на территорию Польши только после того, как польское государство распалось и фактически перестало существовать». Но это было явной фальсификацией фактов, так как Польша еще не прекратила сопротивляться, защитники Варшавы сражались до 28 сентября, а Модлин защищался до 30 сентября. Объявленная в ноте советского правительства «цель» вступления советской армии в восточную Польшу — «взять под защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии» — была только прикрытием действий СССР по выполнению условий дополнительных секретных протоколов к советско-германскому пакту от 23 августа 1939 года. Наиболее точную характеристику этим действиям СССР мы находим в выступлении У.Черчилля по радио 1 октября 1939 г.: «Польша снова подверглась вторжению тех самых двух великих держав, которые держали ее в рабстве на протяжении 150 лет, но не могли подавить дух польского народа. Героическая оборона Варшавы показывает, что душа Польши бессмертна и что Польша снова появится, как утес, который временно оказался захлестнутым сильной волной, но все же остается утесом. Россия проводит холодную политику собственных интересов. Мы бы предпочли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики».

* В западных странах «сборники документов, монографии и статьи», в т.ч. труды польской эмиграции по катынскому делу, публикуются, конечно, не «с тех пор», а со второй половины 1940-х.

Частям польской армии, находившимся на востоке страны, был дан приказ не оказывать вооруженного сопротивления советским войскам и вести переговоры о возможности отвода войск в Румынию и Венгрию. Таким образом советские войска быстро захватили восточные территории Польши. По данным российских ученых, советская армия интернировала более 250 тыс. польских военнослужащих, в том числе 15 тыс. офицеров. В сводке Управления НКВД СССР по делам военнопленных от 19 ноября 1939 г. указано: всего поступило военнопленных — 125 тыс. человек, отправлено в Западную Украину и Западную Белоруссию — 42,4 тыс. человек, передано германским властям — 43,4 тыс. человек, содержится в лагерях: офицеров, полицейских и жандармов — 15 тыс. человек, солдат и младшего командного состава — 24,6 тыс. человек. Впоследствии польские офицеры, содержавшиеся в советских лагерях, пропали без вести.

После заключения советско-польского союзнического договора [август 1941] правительство В.Сикорского несколько раз предприняло попытку поднять вопрос о судьбе польских военнопленных. Однако советское правительство каждый раз уклонялось от конкретного ответа на запросы польской стороны.

Летом 1942 г. были обнаружены останки польских военнопленных в Катынском лесу, в 14 км от Смоленска. В феврале-марте 1943 г. немцы организовали раскопку катынских захоронений. 11 апреля 1943 г. под флагом германского Красного Креста польские представители (некоторые из них — с ведома польского подполья) побывали в Смоленске, чтобы убедиться в убийстве польских офицеров. 14 апреля германское министерство пропаганды информировало прессу о том, что в окрестностях Смоленска были обнаружены массовые захоронения, где находятся останки 12 тыс. польских офицеров, убитых НКВД СССР (эта цифра была ошибочной: в Катыни на самом деле было похоронено 4410, под Харьковом 3739, в Медном под Тверью (Калинином) — 6314 человек). В сообщении говорилось, что 12 тыс. офицеров и 300 тыс. солдат польской армии попали в плен при оккупации Советским Союзом Восточной Польши.

За это время, по договоренности Сталина с польским правительством, в эмиграции была создана польская армия на территории Советского Союза. Возглавлял ее генерал Владислав Андерс. В ее состав входили главным образом поляки, выпущенные по амнистии из советских концлагерей, однако среди них было очень мало офицеров. Польские законные власти в эмиграции и семьи польских офицеров поддерживали с ними связь лишь до апреля 1940 года. По показаниям советских железнодорожников и местных жителей, польских офицеров большими группами привозили в лес близ Смоленска и там расстреливали. Московское радио передало сообщение, согласно которому в массовой гибели польских офицеров обвинялись исключительно немцы.

Однако агентство Рейтер сообщило: «Немецкая пропаганда, которая никогда не упускает возможности сеять разлад среди союзников, начала распространять сообщение о предполагаемом открытии захоронений польских офицеров в лесу близ Смоленска. Немцы утверждают, что эти офицеры попали в плен к русским во время их вступления в Польшу в 1939-1940 гг. и были расстреляны по указанию ГПУ в марте-мае 1940 года. Почему немцы, оккупировавшие Смоленск два года назад, только сейчас разглашают эту историю, можно догадаться. Польское правительство в Лондоне заявило, что действительно несколько тысяч польских офицеров, попавших в плен к русским, пропали без вести, и проведенные до сих пор путем дипломатического запроса в Москву поиски не привели к результатам, несмотря на утверждения советского правительства, что они давно освобождены. До того как стало известно о захоронениях, польские власти считали этих офицеров «пропавшими без вести где-то в России» и обходили этот вопрос молчанием. Как стало известно, польское правительство намеревается сообщить в пятницу (16 апреля) свою официальную точку зрения».

Выходившая в Лондоне польская газета «Дзенник польский» писала: «Это страшное обвинение — вероятно, еще одна ложь немецкой пропаганды, направленной на разрушение польско-русских отношений. С другой стороны, судьба польских офицеров, находившихся в лагерях для военнопленных в Козельске и Старобельске, неизвестна до сих пор и вызывает большую тревогу польской общественности». 17 апреля польское правительство выступило с открытым заявлением, в котором выразило протест против использования Германией трагедии польских офицеров в собственных пропагандистских целях.

Британское министерство пропаганды просило британский МИД привлечь к эксгумации захоронений представителей Международного Красного Креста. 15 апреля Немецкий Красный Крест направил телеграмму в Международный Комитет Красного Креста с просьбой присутствовать при раскопке массовых захоронений польских офицеров. Президент МККК М.Губер ответил, что в соответствии со своими обязанностями они готовы передать родственникам любое сообщение о пропавших без вести, но просьбу об участии в эксгумации можно рассматривать только в том случае, если поступит приглашение от всех сторон, имеющих отношение к этому делу. В это же время с такой просьбой обратилось в МККК и польское правительство в эмиграции. 16-17 апреля немецкое министерство здравоохранения составило список пользующихся международной известностью профессоров — специалистов по судебной медицине из Лиссабона, Мадрида, Загреба, Стокгольма, Женевы, Цюриха, Будапешта, Рима, Копенгагена, Бухареста и других городов Европы.

17 апреля в МККК была направлена еще одна просьба Немецкого Красного Креста, подписанная известным в европейских кругах герцогом фон Кобургом. 20 апреля президент М.Губер в своей ответной телеграмме сообщил, что МККК в эти дни предпринимает попытку вести переговоры с Советским Союзом по вопросу о положении военнопленных в России, но опасается, что в случае выполнения просьбы Немецкого Красного Креста и польского правительства СССР может отказаться от переговоров. Поэтому предлагалось подождать до получения ответа СССР на запросы МККК о положении военнопленных. К тому же МККК не исключал возможности преднамеренного затягивания и уклонения советского правительства от ответа. Просьба об участии в эксгумации захоронений польских офицеров поставила МККК в трудное положение, так как в соответствии с меморандумом, направленным Международным комитетом 12 сентября 1939 г. обществам Красного Креста воюющих стран, где были определены основные принципы его возможной деятельности в случае нарушения международного права, МККК мог участвовать в расследованиях только в случае поступления просьб от всех заинтересованных сторон. В данном случае не было просьбы ни советского правительств, ни Советского Красного Креста. СССР не подписал Женевскую конвенцию 1929 г. «О содержании военнопленных», но в 1934 г. заявил о своем присоединении к конвенции «Об улучшении положения раненых и больных военнослужащих вражеской армии» от 29 июля 1929 года. В 1934 г. Советский Красный Крест стал членом Международной лиги обществ Красного Креста. В создавшихся обстоятельствах было целесообразно опубликовать официальное коммюнике МККК с целью обратить внимание Советского Союза на возможное расследование катынского дела с участием нейтральных экспертов. Однако советское правительство никак не реагировало на коммюнике, опубликованное 23 апреля.

28-30 апреля 1943 г. Международная комиссия, состоявшая из специалистов по судебной медицине и криминалистике, произвела эксгумацию захоронений польских офицеров. В результате работы комиссии было установлено, что польские офицеры были расстреляны в 1940 году.

Катынское дело оказало огромное влияние на польско-советские отношения. 25 апреля 1943 г. народный комиссар иностранных дел СССР В.Молотов вручил послу Польши ноту советского правительства, где польское правительство обвинялось в доверии к «фашистской прессе, раздувавшей находку захоронений польских офицеров на оккупированной немецкой армией территории». Далее говорилось, что «гитлеровские власти, которые сами виновны в этом чудовищном преступлении расправы над польскими офицерами, играют комедию расследования, организуя ее с участием польских профашистских элементов, которых рекрутировали из оккупированной Польши, находящейся под пятой Гитлера, и где честный поляк не имеет права открыто заговорить». Советское правительство обвиняло и Международный Комитет Красного Креста в участии в «комедии расследования, режиссером которой является Гитлер». Польское правительство обвинялось в тайном сотрудничестве с Гитлером в проведении клеветнических кампаний против Советского Союза с целью достижения определенных территориальных уступок на Украине, в Белоруссии и Литве. В конце ноты советское правительство заявило, что разрывает отношения с Польшей.

Польское правительство старалось не обострять отношения с боевым союзником, поэтому его ответное заявление от 29 апреля было очень сдержанным и корректным. В заявлении говорилось, что политика польского правительства, направленная на достижение дружеского взаимопонимания между

Польшей и СССР, на поддержку целостности и полного суверенитета Польской Республики, целиком и полностью поддерживается польским народом. Несмотря на трагические последствия вступления советской армии на территорию Польской Республики, польское правительство заключило союзнический договор с Советским Союзом и добросовестно выполняло свои обязательства по договору. Польское правительство требовало проявить элементарную гуманность по отношению к семьям и детям польских военнослужащих, находящимся в СССР, а также освободить польских граждан из советского заключения. Польское правительство, говорилось далее, никогда не высказывало претензий относительно советских территорий и сейчас также в соответствии со своим заявлением от 25 февраля 1943 года не высказывает подобных претензий. В своих комментариях к этому заявлению Рейтер предположил, что в случае согласия советского правительства на обсуждение проблемы эвакуации жен и детей бывших польских военнослужащих из СССР польское правительство может отказаться от политического вопроса об убийстве польских офицеров. Газета «Дейли мейл» писала, что Черчилль и Рузвельт могли бы попросить Сталина лично вмешаться в дело урегулирования советско-польских отношений. «Эксганге телеграф» сообщил, что в дипломатических кругах Лондона ждут, что британский министр иностранных дел предложит свое посредничество в урегулировании советско-польских разногласий. Немецкие публикации вызвали большой интерес и у американской общественности. Однако правительства США и Великобритании не хотели обострения советско-польских отношений ввиду необходимости сохранения антигитлеровской коалиции.

После освобождения Смоленска советское правительство в сентябре 1943 года создало специальную комиссию во главе с академиком Н.Н.Бурденко по расследованию катынского дела. Впоследствии комиссия официально заявила, что польские офицеры были убиты в 1941 г. немецкими захватчиками. В октябре 1945 г. в один из разделов обвинительных сведений Великобритании, Франции, США и СССР против главных военных преступников была включена катынская трагедия. В феврале 1946 г. советский прокурор на Нюрнбергском процессе полковник Покровский обвинял немцев в убийстве польских военнопленных в Катыни. В июле 1946 г. в Нюрнбергском трибунале состоялось слушание дела по обвинению виновных в катынской трагедии. Однако в окончательном тексте приговора катынское дело не упоминалось.

Разоблачение культа личности Сталина и хрущевская «оттепель» также не повлияли на раскрытие тайны катынского дела. 20 ноября 1992 г. Н.Ермолович опубликовал в газете «Известия» письмо председателя Комитета государственной безопасности А.Шелепина Н.С.Хрущеву:

«В Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР с 1940 года хранятся учетные дела и другие материалы на расстрелянных в том же году пленных и интернированных польских офицеров, жандармов, полицейских, осадников, помещиков и т.д. из бывшей буржуазной Польши. Всего по решению специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 человек. Вся операция по ликвидации указанных лиц проводилась на основании Постановления ЦК КПСС от 5 марта 1940 года. (...) С момента проведения названной операции, т.е. с 1940 года, никаких справок по этим делам никому не выдавалось и все дела в количестве 21 857 хранятся в опечатанном помещении. Для советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. Вряд ли они могут представлять действительный интерес для наших польских друзей. Наоборот, какая-либо непредвиденная случайность может привести к расконспирации проведенной операции, со всеми нежелательными для нашего государства последствиями. Тем более что в отношении расстрелянных в Катынском лесу существует официальная версия, подтвержденная произведенным по инициативе советских органов власти в 1944 году расследованием комиссии именовавшейся «Специальная комиссия по установлению и расследованию расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров». (...) Выводы комиссии прочно утвердились в международном общественном мнении. (...) Исходя из изложенного, представляется целесообразным уничтожить все учетные дела на лиц, расстрелянных в 1940 году по названной выше операции. Для исполнения могущих быть запросов по линии ЦК КПСС или Советского правительства можно оставить протоколы заседаний тройки НКВД СССР, которая осудила указанных лиц к расстрелу, и акты о приведении в исполнение решений троек. По объему эти документы незначительны, и хранить их можно в особой папке».

Итак, каждая новая смена руководителей СССР несла большой груз ответственности за сокрытие истинных виновников катынской трагедии.

Путь к раскрытию в СССР правды о Катыни был долгим. В конце апреля 1985 г. после заседания Консультативного комитета Организации Варшавского договора состоялась встреча В.Ярузельского с М.С.Горбачевым. В.Ярузельский говорил о необходимости очищения советско-польских отношений «от всего, что их отягощает, мешает им, подрывает взаимное доверие и искренность дружбы между нашими народами», и в числе важных проблем, требующих пересмотра, называл катынскую трагедию (см. «Новая Польша», 2000, №3). 31 марта 1989 г. политбюро ЦК КПСС, обсудив вопрос о Катыни, приняло решение «поручить Прокуратуре СССР, Комитету государственной безопасности СССР, МИД СССР, международному и идеологическому отделам ЦК КПСС в месячный срок представить на рассмотрение ЦК КПСС предложения о дальнейшей советской линии по катынскому делу». Готовясь к официальному визиту в СССР, В.Ярузельский сообщил, что визит в Москву не состоится, если советская сторона не обнародует истину о катынском преступлении. Позицию советского руководства можно определить по записке В.М.Фалина президенту М.С.Горбачеву от 2 февраля 1990 года:

«Наш аргумент — в госархивах СССР не обнаружено материалов, раскрывающих подоплеку катынской трагедии, — стал бы недостоверным. Выявленные учеными материалы, а ими, несомненно, вскрыта лишь часть тайников, в сочетании с данными, на которые опирается в своих оценках польская сторона, вряд ли позволят нам дальше придерживаться прежних версий и уходить от подведения черты. (...) Видимо, с наименьшими издержками сопряжен следующий вариант: сообщить Ярузельскому, что в результате тщательной проверки соответствующих архивохранилищ нами не найдено прямых свидетельств (приказов, распоряжений и т.д.), позволяющих назвать точное время и конкретных виновников катынской трагедии. Вместе с тем в архивном наследии Главного управления НКВД по делам военнопленных и интернированных, а также Управления конвойных войск НКВД за 1940 год обнаружены индиции, которые подвергают сомнению достоверность «доклада Н.Бурденко». На основании означенных индиций можно сделать вывод о том, что гибель польских офицеров в районе Катыни — дело рук НКВД и персонально Берии и Меркулова. Встает вопрос, в какой форме и когда довести до сведения польской и советской общественности этот вывод...»

В апреле 1990 г. во время официального визита В.Ярузельского в Москву президент СССР сделал официальное заявление об ответственности НКВД за катынский расстрел [только при Ельцине вина в катынском деле была возложена на партийно-государственное руководство СССР]. 14 апреля 1990 г. было опубликовано официальное заявление ТАСС. Президент СССР передал В.Ярузельскому списки убитых польских офицеров и другие документы, свидетельствующие о преступлении, совершенном органами безопасности СССР в Катынском лесу. Тем самым была [частично] заполнена одна из трагических страниц в истории советско-польских отношений. Катынская трагедия и многолетнее умолчание о ней явились следствием преступной политики тоталитарного режима в СССР, совершенно игнорировавшего нормы международного права, морали и гуманизма.

***Кокебаева Гульжаухар Какеновна**, 1953 г.р., кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Казахского национального университета им. аль-Фараби (Алматы, Казахстан).*

В 1975 г. окончила исторический факультет Казахского государственного университета. В 1982-1985 гг. обучалась в очной аспирантуре при Институте всеобщей истории АН СССР (Москва). В этом институте в 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию. Научные интересы связаны с проблемами новейшей истории стран Европы. Опубликовано более 70 научных и научно-методических работ, в том числе и по проблемам советско-польских отношений. В настоящее время работает над докторской диссертацией на тему: «Официальная политика СССР и Германии по проблеме военнопленных (1918-1955 гг.)». В 2003 г. проходила научную стажировку в Рурском университете (Бохум, ФРГ), работала в научных библиотеках и архивах ФРГ.

Войцех Станиславский

ЖИЗНЬ НА ОБОЧИНЕ

Русская эмиграция на землях Второй Речи Посполитой

Русские эмигранты в Варшаве в 30-е годы. В первом ряду третий справа сидит Дмитрий Философов

В результате перемен, произошедших в России: падения монархии, прихода к власти большевиков, несколько лет тянувшейся гражданской войны — страну на рубеже 1920-х покинуло несколько миллионов человек, в большинстве своем русских. Русская эмиграция была в высшей степени разнородной (чтобы не сказать разделенной): разными были время, направления и способы ухода из России, материальное положение, решимость и, может быть, главное — политическая ориентация. Объединяли эмигрантов нежелание жить под властью большевиков и надежда на политические перемены.

Русские беженцы оказались во многих странах; эмигрантские авторы, поставившие себе целью показать размах и масштабы рассеяния, нередко упоминали о существовании русских колоний в Северной Африке, Южной Америке, Японии. Однако подавляющее большинство эмигрантов осело в Европе. Трудно привести точные данные о численности русских общин в разных странах: добросовестной оценке мешают частые перемещения беженцев, трудности с исчислением «местных» русских, живших в данной стране до 1914 г., наконец, не всегда доброжелательное отношение властей, стремившихся занизить число эмигрантов в своей стране.

Особенно много споров вызывали попытки исчислить русских беженцев в Польше: многие эмигранты придерживались доктрины «триединства», согласно которой белорусов и украинцев следует рассматривать как «русские племена»; нередко русскими считали также всех православных. Все это породило своеобразный, не подтвержденный никакими доказательствами «миф о шести миллионах», имевший хождение у эмигрантских авторов вплоть до 1970-х (см. напр. такой серьезный труд, как «Зарубежная Россия» П.Е.Ковалевского»). Опровержение тезиса о шести миллионах русских эмигрантов в Польше эмигрантские деятели считали одним из главных доказательств «польской русофобии»*. Польские политики и публицисты склонны были к противоположному подходу: они занижали численность русского населения; о том, что это делалось хотя бы в некоторой степени злонамеренно, свидетельствует факт легкого отхода с этих позиций, как только это диктовала политическая конъюнктура**. Выводя средние данные из того, что публиковалось в статистических ежегодниках и приводилось в докладных записках администрации и спецслужб, можно все-таки принять, что

* Как величайшую несправедливость, совершенную поляками, оценивает эту «фальсификацию» в своих воспоминаниях (хранящихся в Бахметевском архиве) Довойно-Соллогуб. Даже эмигранты, доброжелательно настроенные по отношению к Польше и на уровне политических деклараций признававшие украинцев отдельной нацией, в повседневной работе склонны были писать о нескольких миллионах русских в Польше (напр. А.Вельмин в «Последних новостях», 1939, 12 марта).

** Ср. напр. заявление польского посла в Москве Станислава Патека во время переговоров с чиновниками Наркоминдела, когда после попытки братьев Трайковичей совершить теракт против советского посольства в Варшаве советские власти в очередной раз потребовали выселить всех эмигрантов с территории Польши, на что польская сторона не соглашалась: «В Польше белых эмигрантов сотни тысяч».

Польша относилась к странам с довольно большой общиной русских беженцев, составлявшей несколько десятков тысяч человек. Тем не менее история русской эмиграции в Польше — у нас в стране тема почти неизвестная либо в лучшем случае «экзотическая» в дурном значении этого слова.

Это случилось не только с польской историографией или польским общественным сознанием. История «белых» эмигрантов и, может быть, особенно их первой послереволюционной волны мало в какой стране дождалась подробного рассмотрения. Даже там, где сохранились архивы, а историки надлежащим образом их использовали, это в малой степени отразилось на коллективном сознании, неизменно недоброжелательном к эмигрантам и склонном видеть их в карикатурном упрощении. Мало кто описал это явление с такой проницательностью и сарказмом, как Владимир Набоков в романе «Пнин»*.

Однако польская память, включая как «профессиональную», так и коллективную «обиходную», в отношении русских эмигрантов выглядит особенно неверной. Среди многочисленных причин на это больше всего повлиял, вероятно, цензурный запрет, наложенный на эту тему в ПНР и действовавший больше полувека, а также крайне плохая сохранность архивов.

Эти замалчивания и упрощения было бы, однако, слишком легко оправдывать, когда в польской словесности речь заходит о «белой эмиграции». В межвоенной Польше об «ограничении открытых высказываний», накладываемом прежде всего самоцензурой, мы можем говорить, имея в виду скорее самих эмигрантов, нежели поляков. В Польше после 1989 г. об ограничениях свободы исследований говорить невозможно. Тем не менее изучение этой темы до сих пор сводится в основном к эксплуатации самых упрощенных стереотипов. Например, одна серьезная газета, упоминая о «Русском доме» — одном из важнейших культурных и политических учреждений русской Варшавы, — писала что здесь «в межвоенные времена (...) белые эмигранты основали клуб. (...) Они роняли слезы под цыганские песни (...) пили польскую водку и играли в русскую рулетку». И это далеко не единственный случай обращения к исключительно карикатурному стереотипу «эмигрантов, мурлычущих цыганские романсы». Можно найти красноречивое высказывание Ксаверия Прушинского (явно ничего не знавшего о стремлении части русских эмигрантских деятелей в Польше обращаться к наследию польской «великой эмиграции» и черпать из нее образцы), который противопоставлял «величие» польской эмиграции и «мелкость» русской, причем так, что вышеприведенный сарказм Набокова попадает в самую точку**.

Самая очевидная причина такого пренебрежения — предрассудки, унаследованные от времен российского владычества. Эти предрассудки одновременно стали в межвоенной Польше элементом своеобразной обратной связи: память о былых обидах не

* «Я встретился с ней и с Пниным в доме известного эмигранта, эсера, за вечерним чаем — на одном из тех непринужденных сборищ, где старомодные террористы, героические монахини, одаренные гедонисты, либералы, дерзновенные молодые поэты, пожилые писатели и художники, издатели и публицисты, вольнодумные философы и ученые являли род особого рыцарства, деятельное и значительное ядро сообщества изгнанников, треть столетия процветавшего, оставаясь практически неведомым американским интеллектуалам, у которых хитроумная коммунистическая пропаганда создавала об эмиграции туманное, целиком надуманное представление как о мутной и полностью вымышленной массе так называемых «троцкистов» (уж и не знаю, кто это), разорившихся реакционеров, чекистов (перебежавших или переодетых), титулованных дам, профессиональных священников, владельцев ресторанов, белогвардейских союзов, — массе, культурного значения не имеющей решительно никакого» (Пер. С.Ильина).

** «Из всех слов в польском и русском языке, — начинает Прушинский свой малоизвестный очерк, — нет, пожалуй, других, которые звучали бы настолько иначе и так отличались бы друг от друга, как вот эти слова: эмигрант, эмиграция. У вас, русских, эмиграция ассоциируется с такими именами, как Деникин, как Юденич, как Колчак, как Врангель, **ассоциируется с бездарностью, жестокостью, с реакционностью и отсталостью, наконец, с парижскими кабаре, стамбульской панелью, китайскими курильнями опиума на Дальнем Востоке — со всем этим болотом, в которое в конце концов скатилась русская эмиграция** (здесь и дальше выделено мной. — *В.С.*). Вот с чем у вас, русских, ассоциируется эмиграция. **Но с нами, поляками, дело обстоит иначе. Для нас эмиграция означала величие.** (...) Эмиграция звучит для нас великими именами далеких битв, в которых и польское оружие побеждало. Это пирамиды и итальянская кампания Бонапарта, это Аустерлиц и Ваграм, это Гогенлинден и Самосьерра».

способствовала установлению контактов с «белой эмиграцией», а ничто так не порождает новых предубеждений и предрассудков, как невежество. Можно подумать и над тем, не представляли ли русские эмигранты («белые») «реликта прошлого», мифологизированного польской национальной манией величия и полезного в качестве «живого примера» побежденного, униженного, еще недавно всесильного врага-захватчика. Это была, пожалуй, не единственная причина: значительную роль сыграли цензурные соображения в послевоенные полвека или сохранившиеся мнения эмигрантов, обычно далеко не доброжелательных к Польше.

Варшава, воскресенье, 2 декабря 1934 г.

СЛОВО

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЦЕРКОВНАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Выходитъ по воскресеньямъ

Бесспорным, однако, остается «отсутствие» или по крайней мере маргинализация русских эмигрантов в польской памяти. Это «отсутствие» тем более поразительно, что русская община в Польше была крайне интересна как сама по себе, так и по причине той особой напряженности, какую несомненно вызывало своеобразное польско-русское «столкновение». Более того, представители этой общины несколько раз повлияли на крупные политические решения, направлявшие ход истории межвоенной Польши*. Все эти эмигранты (употребим высокие слова) делили с населением Польши его судьбу. Если попробовать составить своеобразный «указатель к воспоминаниям» эмигрантов, то окажется, что они запомнили и блистательное возвращение Пилсудского из-под Киева в мае 1920 г., а двумя месяцами позже — хаотическую эвакуацию (К.Н.Николаев — Бахметевский архив), и жизнь в помещичьем имении (Е.В.Исаакова — там же), и прелести «современного стиля жизни» в модном пансионате в Закопане (Ольга Тисаревская — там же). В памяти эмигрантов нашлось место описанию нужды на восточных окраинах и назревающего бунта (М.А.Моисеев. Былое. Сан-Франциско, 1980), бомбежкам Варшавы в сентябре 1939 г., а после них, во время оккупации, наступившей «малой стабилизации» с растущим безразличием к судьбе тех, кому приходилось хуже (А.К.Свитыч — Бахметевский архив). Есть в русской эмиграции своя легенда, подобная легендарной смерти Виткация: в воспоминаниях Свитыча и Моисеева говорится о самоубийстве капитана Николая Ивановича Дроздовского при известии о вторжении Красной Армии в пределы Польши.

Надеюсь, что описание русской эмиграции на польских землях может оказаться полезным тем, кто заинтересован межнациональными отношениями во Второй Речи Посполитой, историей антикоммунистической мысли или социальной динамикой «нацменьшинств». Среди причин, которые склонили меня заняться «белой эмиграцией», главную роль все-таки сыграло недовольство «отсутствием» русских эмигрантов, одной из групп населения межвоенной Польши, в сегодняшней памяти.

Большинство исследователей, занимавшихся до сих пор вопросом беженцев, не придавало достаточного значения тому факту, что условия жизни русской общины в Польше были исключительно сложными — прежде всего потому, что значительная часть русских «беженцев» уже жила на польских землях до 1914-1915 гг. и оставила их, уходя вглубь своей страны — России — от наступающих немецких войск. Когда несколько лет спустя они возвращались на берега Вилии, Буга или Вислы, то не оказывались там — как на берегах Рейна или Сены — нейтральными «экзотическими» пришельцами, к которым окружающие испытывали сострадание, доброжелательность, любопытство или, в худшем случае, равнодушие. Они прибывали на землю, отягощенную памятью разделов Польши, а их самих обуревали многообразные чувства — от мстительной обиды, которую можно назвать «постколониальной» («Это было наше!..») до смущения, неприязни,

* Я имею в виду прежде всего роль эмигрантов (как отдельных личностей или как фактора, с которым нужно считаться) в истории польско-советских отношений: начиная с трагической судьбы Бориса Савинкова, от которого в 1920 г. Ю.Пилсудский ждал, что он станет создателем «третьей России», и который в 1924 г. перешел польско-советскую границу, чтобы погибнуть на Лубянке, — вплоть до целого ряда террористов, от Бориса Коверды до Юрия Войцеховского, совершавших в Варшаве теракты против советских дипломатов.

раскаяния. Огромное большинство источников как польского, так и русского авторства, в которых содержатся данные, более или менее позволяющие создать «коллективный портрет общины», оперируют лишь определением «русский» — это доказывает, что различению эмигрантов и лиц, имеющих польское гражданство, придавали тогда довольно мало значения. Это различие было существенным при обсуждении вопросов более детальных или связанных с политической деятельностью; зато оно почти ничего не значило, если говорить об условиях жизни, направлениях эмигрантских потоков, перемещавшихся по Европе, или поисках средств к жизни. Это понятно, однако, реконструируя историю эмигрантской политической мысли, я старался каждый раз дознаться не только, каков был формально-правовой статус данного активиста или автора («эмигрант» или «гражданин Речи Посполитой»), но и был ли этот человек «репатриантом» или же раньше он не был постоянным жителем польских земель.

По многим причинам, изучая активных эмигрантов в Польше, мы встречаемся с негативным отбором: подавляющее большинство образованных и активных людей рассматривало Польшу как «транзитный этап», со временем переезжая в страны, где сосредотачивалась интеллектуальная и политическая жизнь эмиграции. Среди лиц, осевших в Польше, значительную часть составляли солдаты и офицеры русской армии, а также чиновники с монархическими взглядами: и те и другие были малообещающим материалом для выработки оригинальных политических концепций.

Напряженными и неприязненными — по сравнению с другими государствами, дававшими русским убежище, — были и отношения между польским обществом и государственно-административным аппаратом, с одной стороны, и русскими беженцами — с другой. И это, понятно, не способствовало развитию и свободному изъявлению политических концепций эмиграции. Тому было несколько причин. Главную роль сыграло существование двусторонних негативных стереотипов и травм; не без значения было и то, что польская сторона давала выход чувству «триумфа» по отношению к представителям народа недавних захватчиков. Однако мнение подавляющего большинства беженцев, согласно которому главной причиной малого гостеприимства была якобы «имманентная польская русофобия», представляется мне ошибочным.

По моему убеждению, в основе взаимной неприязни лежало принципиальное расхождение (несогласие или, прибегая к латыни, incomptabilitas) между польскими и российскими государственными интересами — российскими в том виде, как их понимали эмигранты. Для подавляющего большинства беженцев неприемлемым было то, что Рижский мирный договор обкарнал границы России.

Естественно, эмигрантские круги весьма различались своим отношением к модели государственного устройства России и к «национальной эмансипации» отдельных народов, входивших до 1917 г. в состав Российской империи. Разброс позиций проходил от имманентного «реставраторства» крайних монархистов, которые стояли за безоговорочный возврат государственного строя и прежней территории, через готовность к уступкам в области культурной, языковой или даже административной «автономии» польских земель, вплоть до представленной главным образом в «кадетских» кругах готовности признать независимость Польши. Впрочем, и эти уступки, даже шедшие далеко навстречу польским чаяниям, ограничивались территорией бывшего Царства Польского — ни одна политическая группировка русской эмиграции (за исключением сторонников Савинкова) не смирялась с потерей земель «Междуморья», населенных «русскими племенами» (см. выше о доктрине триединства). Следует добавить, что даже кадетские круги, в принципе смирявшиеся с территориальными переменами и уменьшением российского государства в его границах, предупреждали, что такого рода решения могут быть приняты лишь Учредительным собранием или другим представитель-

ством российского общества. Рижский же договор был в глазах эмиграции как бы дважды неправомочным: во-первых, он закреплял переход земель, принадлежавших России, под власть иностранной державы (Польши); во-вторых, власти Польши подписали его с «узурпаторами». Если подпись большевиков под договором рассматривалась как еще одна «государственная измена», то Польше в этом политическом преступлении выпала роль соучастника, притом действовавшего умышленно, если принять во внимание укорененный среди русских миф о польском «Drang nach Osten».

Польские власти, в свою очередь, не могли смириться с тем, чтобы на их территории велась деятельность группировок, направленная на подрыв прочности и правомочности границ возрожденной Речи Посполитой. Они не могли позволить открыто высказывать и популяризировать такого рода позиции. Когда осознаёшь, насколько резким и в то же время не поддающимся ликвидации было это расхождение, то просто диву даешься тому, что эмигрантская община могла функционировать на польских землях на протяжении всего межвоенного двадцатилетия — даже в форме, ограниченной по сравнению с соседними странами. Следует предположить, что это происходило в силу двустороннего стремления к компромиссу или, может быть, точнее — нежеланию ставить вопросы ребром. Тем не менее польские власти не раз предпринимали решительные шаги (высылку) в отношении групп (главным образом монархистов), нарушавших «молчаливый компромисс» и открыто выступавших за пересмотр Рижского договора. Не без значения был и тот факт, что радикальные круги эмиграции могли подорвать холодные, но приличные польско-советские отношения, поэтому намерения и действия такого рода рассматривались властями Польши как угрожающие польским государственным интересам.

Именно ввиду подозрений (не безосновательных), что такого рода потенциально опасного «ревизионизма» (в отношении Рижского договора) и/или «радикализма» (в отношении СССР) придерживается подавляющее большинство «белых эмигрантов» в Польше, власти относились к ним в целом недоброжелательно. Это выражалось как в ряде правовых ограничений (не давали разрешения на деятельность эмигрантских политических партий, в программе которых можно было усмотреть «ревизионизм»; ограничивали свободу передвижения по восточным воеводствам), так и в том, что никто не предпринимал (или предпринимал в самых скромных масштабах) начинаний по улучшению быта эмигрантов, какие предпринимались в большинстве европейских государств (дотации благотворительным организациям, стипендии школьникам и студентам, облегчения при организации просветительных учреждений). К этому следует добавить низкий материальный статус беженцев и присущее государствам, возникшим в результате распада Российской империи, отсутствие поддержки в российских дипломатических и консульских учреждениях, которой могли пользоваться эмигранты в Западной Европе и Америке. Более того, круги эмигрантов подвергались контролю и слежке (не раз даже манипуляциям), проводившимся сильными структурами польских спецслужб.

Все это приводило к тому, что отношения между поляками и русскими беженцами в межвоенное двадцатилетие были в немалой степени обусловлены негативно; можно сказать, что они были обречены на неудачу. Это происходило прежде всего в силу исторического «багажа». Как в дискуссии о польско-российской границе (и шире — о региональном порядке в Центральной и Восточной Европе), так и в случае проводившейся в стране на фоне «обмена ролями» «реполонизации», которую русские беженцы воспринимали как насильственную «полонизацию-дерусификацию», — позиции настолько расходились, что трудно даже представить себе, как мог бы выглядеть потенциальный компромисс. Пространства взаимных уступок практически не было — и уж наверняка это пространство почти не существовало в глазах людей того времени*. Невозмож-

* «Несходимость» обеих позиций хорошо иллюстрирует неопубликованный комментарий польского публициста и политика Леона Василевского к очерку Виктора Чернова «Две недели в Польше» («Воля России, 1925, №1). Василевский считает текст Чернова «примирительным», выражает убеждение, что «одним из намерений автора было убедить хотя бы часть [эмигрантов] (...) что в Польше не так уж безнадежно плохо, как представляет себе рядовой русский, что «Польша» и «русофобия» — это не синонимы». Так Василевский оценивал статью, автор которой , говоря о положении эмигрантов в Польше, сосредотачивался на закрытии русских школ, взрыве собора Александра Невского в Варшаве и полонизации восточных окраин, разумеется, все это осуждая. Группу Савинкова, по словам Василевского, Чернов считает раскольниками, на которых с момента ратификации Рижского договора легла тень национальной измены. Имеет смысл задуматься, каковы же были антипольские тексты, если этот очерк сочтен «примирительным».

ность согласовать позиции по вопросу о границах уже разобрана выше. Но и «дерусификация», выглядевшая в глазах поляков актом исторической справедливости и «восстановлением наследия», не могла не восприниматься русскими беженцами как поведение несправедливое, унижающее и отчуждающее. Польскому исследователю легче понять это сейчас, по прошествии времени. Людям межвоенного десятилетия (за редкими исключениями) это не удавалось — как в «споре о границах», так и в «споре о наследии». Дополнительно всё усложнял «багаж прошлого»: память о недружественных отношениях в эпоху разделов Польши и сильные негативные стереотипы, наросшие главным образом на основе опыта тех времен. Конкурентные картины будущего тоже не удавалось примирить: из того, что известно о попытках согласовать их или хотя бы дать им сосуществовать, пусть на уровне decorum или любезного обхождения в официальной жизни, трудно признать их удачными**.

Все это способствовало истолкованию поведения «другой стороны» с особой раздражительностью и своего рода мышлению в рамках «теории заговора»: любое решение польских властей, пусть даже вполне обоснованное государственными интересами, без труда воспринималось как проявление «польской русофобии» — и наоборот: во вполне оправданном поведении бездомной общины русских бесподанных польские наблюдатели готовы были видеть «русификаторские склонности». Дал себя знать и губительный, но столь нередкий в отношениях между двумя национальными общинами механизм «заколдованного круга»: поведение и решения одной стороны, сами по себе ничтожные, другой стороне кажутся непропорционально сильной реакцией. Польско-русские травмы в межвоенное двадцатилетие оставались открытой раной, не смягчались.

То, что выход существовал, доказывают позиции тех, кто с обеих сторон стремился к диалогу, — в первую очередь людей, собиравшихся вокруг Дмитрия Философова; их достижения заслуживают глубокого изучения. Но одновременно, предпринимая попытку «каталогизировать» мысль политических эмигрантов, в том числе и размышления о Второй Речи Посполитой и польско-русских отношениях, следует отдавать себе отчет в том, какой груз прошлого над ними тяготел и какой интеллектуальной независимостью (данной, увы, не всем) нужно было обладать, чтобы от этого груза избавиться.

Публикуемый текст — отрывок из готовящейся в настоящее время к печати кандидатской диссертации «Политическая мысль русской эмиграции во Второй Речи Посполитой»), написанной под руководством профессора Шимона Рудницкого и защищенной весной 2002 г. в Варшавском университете.

** Даже у Савинкова, активность которого в планах польско-русского примирения, по крайней мере в 1920-1921 гг. несомненна, заверения, например, в том, что польский орел «нам, русским патриотам», почти так же близок, как русский («За свободу», 1921, 1 янв.), звучат не слишком убедительно. Полное представление о том, как гротескны бывали попытки «единения памяти», дает, например, описание празднования 15-летия восстановления независимости Польши в Виленской православной духовной семинарии (в анонимном письме — Бахметевский архив, организационные доклады РОВС, Польша, 1933-1934): после торжественного заседания была показана сценка, где в лесу у костра сидят три польских скаута — их роли, естественно, играют русские семинаристы — и с пафосом ведут разговоры о великой возрожденной Польше и о том, как они рады, что 15 лет назад «наши» показали Кузькину мать «москалям», долго угнетавшим Польшу и не позволявшим ей развиваться.

Мартин Баран

МИР, СЛОВА, СНЫ

О поэзии Адама Видемана

Адам Видеман *(род. 1967) — поэт, прозаик, музыкальный и литературный критик, переводчик, художник и график. Опубликовал сборники стихов: «Самчик» (1996), «Звериные сказки» (1997, 2002), «Стартер» (1998), «Ландыш» (2001), «Калипсо» (2004), а также прозаические произведения: «Вездесущесть порядка» (1998), «Где собака зарыта» (1998, вышло в России в 2003 в издательстве НЛО) и «Постельные сцены» (2005). Трехкратный номинант премии «Нике», лауреат премии Костельских. Книги Видемана переведены на английский, испанский, немецкий, русский, словенский и чешский языки.*

Адам Видеман — один из интереснейших польских писателей среднего поколения. Среди ровесников он, помимо всего прочего, выделяется тем, что творит сразу в нескольких областях искусства (литература, изобразительные искусства, музыка) и с одинаковой интенсивностью пишет стихи и прозу, в обоих достигая необычных и любопытных результатов. Но в каком бы качестве он ни выступал, Видеман всегда остается Видеманом — художником со своим собственным, узнаваемым стилем письма и мышления.

*

С самого начала следует отметить, что Видеман принадлежит к тому вневозрастному кругу польских писателей, которые скорее позволили бы себя убить, чем написали бы что-нибудь откровенно возвышенное, неизбежно торжественное, безусловно серьезное. Это не значит, что литература для него — исключительно пространство игрового эскапизма и поставангардных штучек. Все дело в том, что Видеман, будучи высокосознательным потребителем современного искусства и в то же время дьявольски проницательным участником игры в жизнь, оказывается перед лицом двух серьезных вызовов-проблем. С одной стороны на него напирает герметический, раздражающе себялюбивый и на вырост убежденный в своей значимости мир излишне изысканной и все более выхолощенной художественности. С другой — хорохорится чрезмерно очевидный, поверхностный и бесцветный реальный мир. Что же делать художнику, который не хочет ни категорически держать сторону бытия, ни безоговорочно уступать искусству? Как каждый выдающийся творец, он совершает акт творения собственного пространства, элементы которого он черпает из постсовременного искусства и постсовременного мира. Он делает это не для того, чтобы отвернуться от искусства и мира, но для того, чтобы и с тем и с другим как-то справиться, как-то жить, как-то брать у них все самое осмысленное и важное.

Видеман знает, что из-за человеческой алчности, глупости и бездумья кажется, будто мир не существует, а искусство не имеет значения. И он решается что-то с этим сделать — во имя процветания искусства и святости жизни. Он решается вернуть искусству важность, а существованию — вес. Достигает он этого, создавая меланхолически бескорыстный стих-прикосновение, в начале, конце, а иногда и середине которого есть сильная, но непринужденная кода, мысль или наблюдение. (Лично я особенно люблю эти два стиха: «Друг друга узнали мы, чтобы когда-то проститься, похоже: / случайно, и мимоходом, и не во веки, а всё же...» и «Если в мыслях своих меня держит Всесильный / то видать и Всесильный слегка водевильный».)

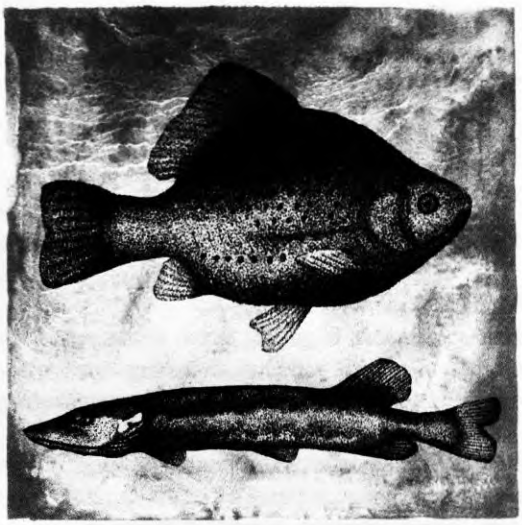
При этом Видеман прилагает множество изобретательности и энергии, чтобы эта сердцевина не слишком бросалась читателю в глаза, чтобы она была не слишком «сердцевинной», поучительной, премудрой. Поэтому он использует лексику обычного языка (что не равнозначно «обыденности»), которая упорядочивает инверсивный, слегка архаичный синтаксис. У него есть много стихотворений, которые можно «услышать», фразировка которых берется «из языка». Это еще один уровень, на котором, по писательскому замыслу Видемана, художественное выражение должно соединяться с живым словом.

*

Все это звучит довольно возвышенно и серьезно, поэтому спешу заверить, что у Видемана мы имеем дело прежде всего с творчеством, полным превосходной иронии и чувства юмора. С творчеством, в котором даже самые обычные явления приобретают высокий ранг (моральный, экзистенциальный, метафизический) благодаря духовной чувствительности и интеллектуальному обаянию.

Эти чувствительность и обаяние очень хорошо видны в фельетонах и статьях, в которых поэт выступает в качестве музыкального критика. В них он придает абстрактной по своей природе музыке, дополнительно опосредованной «звукоизолирующей» прессой, конкретность и чувственность сочинившего или исполняющего ее человека, избегая при этом ловушки грубого биографизма или наивного додумывания идейной программы. Пожалуй, притягательная сила естественно-искусственных (или, если кто предпочитает, искусственно-естественных) стихов Видемана во многом объясняется его музыкальным слухом. Его поэзия — это композиция ритмов и значений. Однако это стихосложение руководствуется не какими-то вымышленными стихотворными системами, а естественным порядком мысли и языка.

*



Даже в такой короткой статье нельзя не упомянуть о Видемане как о замечательном ловце снов. Его последняя книга «Постельные сцены» — не что иное как дневник снов, а приснились они автору или он их придумал, не так уж важно. Ведь придумать сон — это все равно как если бы он тебе приснился!

Формально записанные прозой, для меня они — поэзия. Это что-то вроде поэмы в прозе. Сны и раньше появлялись в творчестве Видемана, однако на этот раз он впервые столь последовательно отвел им ключевую роль, задающую тон всей книге. Пожалуй, структура и поэтика сна очень точно соответствуют природным способностям, склонностям и творческим желаниям писателя. Слабая логическая связь происходящих во сне событий удовлетворяет потребность в творческой свободе психологических исканий, а их сверхнатуралистическая реальность позволяет создавать ситуации такой экзистенциальной интенсивности, которая при других обстоятельствах была бы фальшивой и невыносимой. Сон обещает желанную свободу, а приносит отвергаемую необходимость. Случается, что сон дает крупицу свободы, но чаще он бывает чрезмерно откровенным и тягостным. Правда, и в этих поэмах в прозе вездесущий юмор становится для Видемана противоядием и плотом, уносящим от смертельной опасности.

*

Как я уже сказал в самом начале, Видеман — один из самых интересных и оригинальных современных польских писателей среднего поколения. Но он не пришел из ниоткуда. Его польское духовное родство (иностранное мы здесь не будем рассматривать) лишь подтверждает силу и исключительность его таланта. Ведь он, чуть ли не единственный из своих ровесников, имеет право считать себя продолжателем творчества, возможно, самого выдающегося польского поэта второй половины XX века (наряду с Александром Ватом) Мирона Бялошевского. Адама Видемана объединяет с Бялошевским повышенная восприимчивость к любому, даже самому малому проявлению бытия, восприимчивость к тому, как всё вокруг нас звучит, и, наконец, тот таинственный, доступный немногим образ духовно-физического существования, который позволяет создавать естественно прекрасную и бесспорно подлинную поэзию.

В тексте использованы иллюстрации Паулины Зеленой к книге Адама Видемана «Звериные сказки» (Вроцлав, изд. Biuro Literackie 1997).

Адам Видеман

Перевод Андрея Базилевского

СТИХОТВОРЕНИЯ

Калипсо

Море — зелёного цвета.
На белом песке большое пятно крови.
Старая женщина умирает в баре, она не наелась,
она не готова. Телефон работает от чип-карты.

Некоторых людей трудно узнать, даже
на улице. Начало апреля, а тут, представьте,
снег. *Противоречия, противоречия.* Эх,
лучше поздно, чем никогда, лучше никогда.

Так что же, нельзя больше жить? Даже когда мы одни,
мы апеллируем к метафоре сердца.
Представь ситуацию, когда не приходит в голову
никакая другая ситуация.

Краков, 5.4.02

Губительные после-бедствия

Итак, снег ровным слоем покрыл крыши, белый
кот осторожно ступает по снегу. Я пишу только о том,
что вижу в окно и что помню. Ничто другое не важно
настолько, чтобы об этом писать. *Что ты делаешь?*

или: *Я стою перед домом в Маастрихте и машу тебе
рукой,* или: *Есть ли там человеческие существа?* Никого
чужого я не решился бы всем этим беспокоить. Это правда,
с чужими мы осторожней, об их горестях

можно только догадываться; можно, хотя и не нужно.
Знание это серебро. Когда-нибудь мы ещё поверим каждому слову,
пусть это будут даже какие-нибудь *сонные
полумесяцы*. А пока — снег бы их побрал.

Краков, 10.4.02

Rys. Paulina Zielona

Эссе: Когда я думаю о поэзии, я всегда шмыгаю носом

Елене Сикелианос

Когда я думаю о поэзии, мои подруги
думают о мокрых прокладках,
а я думаю о носах и стволах.

Когда я думаю о поэзии моих подруг,
я ощущаю себя рыбкой в их кружавчатых сетках,
а они думают о пропеллерах и болтах.

Когда мои подруги думают о поэзии, они
думают о резинке и рыбьей кости,
но когда я думаю о них и о поэзии, я думаю

об общешкольном конкурсе на лучший ствол
и о траве, на которой я их ласкаю,
и о коленках, на которых я их ласкаю,

когда они уже кажутся
вдрызг падшими, я думаю,

что когда я думаю о них в их поэзии, я думаю,
что только мёртвые подруги думают,
что именно я о них после всего подумаю.

Медана, 23.8.02

Наследие

Попробуй это рассказать, не беря
меня в союзники. Говорят, любое
чувство начинается с боли. Он огромными прыжками
мчался вниз по каменистому склону, он был всё меньше, буквально

исчезал у нас на глазах. Deus
mortem non fecit, как говорят. По крайней мере,
хоть в этот раз дай себя уговорить, вылазка за город, артерии
красных лампочек, бело-красных лент, твои фотографии

на каждом углу. Это
произошло в полной тишине, звук
долетел до нас через несколько секунд и был как
иллюстрация к сказке. Можно сказать, его пережили ботинки.

Грабов, 25.12.02

Младенец

Младенец пострадал от сырости, а Содома
обновил его, однако весьма несовершенно.
[Вазари]

Нетрудно стать
человеком, когда в кармане есть
соответствующий диплом. А вы что, не знали:
поначалу мы все похожи на карман, куда мать бросает

лоскутки и обрезки, неточности кроя.
Да-да, самый лучший суп готовит тот, кто
голоден, только надо помнить: живот от голода пухнет
и не даёт хорошей земли. Мало эмоциональный черновик. Так уж

мы возникли, и давайте в этом винить
только самих себя. Ведь мы и сами
не лучше, иначе было бы нечего
исправлять, а мир был бы сплошь чавканьем глубокого удовлетворения.

Грабов, 26.12.02

Религия во времена секуляризации

Теперь говорят роль Церкви станет весомей
особенно роль католической Церкви она ведь мать всех
остальных Церквей православие не
породило никаких Церквей только секты они как вши
или еще какие-нибудь паразиты их следует растоптать

католическая Церковь всегда отлично знала
что есть простая ересь а что предвестие новой
Церкви повторяя тем самым жест патриарха Ноя
который не взял в Ковчег динозавров они были слишком тяжёлые
а вшей взял только потому что они кишели у него в волосах

итак Церковь крепко вцепилась в события
она наберёт высоту и как аэроплан
повлечёт нас в тучи за пелену которых проникает
только мысль социологов и пожирателей риса
а этим немного надо чтоб привести их в ярость

Краков, 6.4.02

Евгений Ефимов

О ТАШКЕНТСКОМ СБОРНИКЕ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

Сборник был подготовлен по инициативе Алексея Толстого и Юзефа Чапского в 1942-1943 гг. в Ташкенте силами эвакуированных туда поэтов и переводчиков.

Стихи поступили из трех источников — из Лондона, из оккупированной Польши и от поэтов, живших в годы войны в Советском Союзе.

Среди авторов сборника — Станислав Балинский, Мария Павликовская, Антоний Слонимский, Юлиан Тувим и многие другие.

По отзыву рецензента сборника, одного из руководителей Союза советских писателей П.Г.Скосырева, «сборник бесспорно целен в своем политико-поэтическом устремлении, в своей тематической направленности. Это плач о раздавленной Польше. Это молитва о ее спасении. Настроения обреченности, безвыходности, гибели всех надежд и мечтаний придают мрачный колорит почти всем произведениям сборника. Это книга пассивного гнева и горести. (...) Сборник бесспорно может быть интересен как документ. Настроения широких кругов интеллигенции Польши в нем нашли весьма убедительное выражение».

Среди переводчиков сборника — Анна Ахматова, Н.Ушаков, А.Кочетков, М.Живов, Л.Пеньковский, Н.Ашукин, Абрам Эфрос и другие крупнейшие мастера.

Сборник был подготовлен к печати Ташкентским отделением издательства «Советский писатель» в 1943 году. По тогдашним правилам, рукопись его была послана в Москву на утверждение. По-видимому, московское руководство этого издательства и отдало рукопись на рецензирование Е.Ф.Книпович, своему постоянному и влиятельнейшему в то время критику, и П.Г.Скосыреву.

Е.Ф.Книпович отнеслась к сборнику резко отрицательно — и к самим стихам, найдя, что «идейно-политическое настроение сборника скорее правительственное, чем народное, что патриотизм его — ограниченный, что звучание многих стихов — не чуждо декаданса», и к переводам, которые она посчитала выполненными «спустя рукава», небрежно. (Здесь надо заметить, что Е. Ф. Книпович имела репутацию «литературного могильщика» — умная, образованная, некогда приятельница Александра Блока, референт Союза писателей и лично Александра Фадеева, она была связана со всевозможными идеологическими и партийными инстанциями, а возможно, и с полицейскими, была очень осведомленной и, как правило, уничтожая ту или иную книгу, выполняла чье-либо высокое задание.)

Учитывая, что сборник готовился в очень сжатые сроки, ряд переводов действительно требует доработки или редактирования, но большая их масса сделана хорошо. Пример тому — перевод Анны Ахматовой, который ничуть не уступает ее оригинальному творчеству. И теперь, думаю, будет широко печататься в составе ее сочинений.

Издательство отказалось от выпуска сборника. По каким причинам — литературным или политическим, — пока неизвестно. Возможно, что по тем и другим. В 1943 г., после Сталинградской битвы, в СССР поменялись идеологические ориентиры. Трагические ноты, звучавшие на первом этапе войны, изгонялись из печати. Общественное сознание поворачивали к победе. Наверное, это и повлияло. (Независимо от того, что речь шла о Польше, — ведь русские читатели могли почувствовать в переживаниях поляков свои, все было очень близко и похоже. Перевод Ахматовой стихотворения Балинского — наглядное подтверждение.) Конечно, повлияло и то еще, что армия Андерса к моменту завершения сборника покинула Россию и воевала на стороне союзников. Сталин хотя и слал им приветственные телеграммы, но относился к ним с большим недоверием.

Мой интерес к этой теме возник в пору, когда я работал над комментированием «Записок об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской, и окреп во время работы над книгой о творчестве Корнея Чуковского в годы войны. Корней Чуковский и его дочь были эвакуированы в Ташкент и играли в тамошней литературной жизни заметную роль. Лидия Корнеевна была знакома с Юзефом Чапским, она единственная при-

шла к нему в гостиницу, когда он намеревался читать польские стихи русским литераторам. О встрече со светловолосой молодой женщиной, удивительно чувствовавшей стихи, Чапский впоследствии написал воспоминания. В начале 1960-х он прислал Чуковской письмо и брошку на память о ташкентском знакомстве. (Брошка цела.) Работая над комментариями к «Ташкентским тетрадям» и книгой о Чуковском, я познакомился со множеством свидетельств и документов, воссоздающих многие давно утраченные обстоятельства литературной и общественной жизни военного периода. Мне пришлось складывать картину из чудом уцелевших осколков. Одним из таких осколков и стал сборник стихов польских поэтов. До меня он не привлекал внимания ни одного исследователя.

Сохранившаяся рукопись сборника представляет собою две больших папки.

Первая, обозначенная как «1 том», — это 52 машинописных и рукописных листа переводов.

Вторая папка, «2-й том», — 157 рукописных оригиналов переводов и польских стихов.

Вполне вероятно, что значительная часть переводов и стихов никогда не печаталась. (Хотя я не проводил библиографических изысканий.)

Иными словами, есть уникальный исходный материал для воссоздания сборника.

Возможно, имело бы смысл даже издать его —как образец русско-польских связей и документ того ужасного времени.

Вторично подготовить его к печати — задача трудная.

Во-первых, материалы сборника должны быть скопированы. Получить на копирование согласие архива будет непросто.

Во-вторых, требуется произвести инвентаризацию имеющегося материала.

В сохранившемся виде он явно утратил свою структуру; нарушен порядок стихов, авторов — содержимое папок частично дублирует друг друга. Не совсем понятно, по какому принципу материал вообще разбит по папкам. Не исключу, что какие-то материалы были изъяты для других изданий, или попросту потерялись, или были выброшены. Сборник сохранился среди документов производственного отдела (а не литературного, не редакционного).

Словом, книгу нужно составлять заново. (Если не удастся найти какие-либо редакционные документы, касающиеся ее.)

Русские переводы нуждаются в редактировании, сверке с оригиналами.

Сборник требует достаточно обширных вступительных статей, рассказывающих об обстоятельствах его создания, авторах и переводчиках, о трагических фактах нашей истории, включая Катынь, лагеря интернированных поляков, Янги-Юль в Узбекистане, где формировалась Польская Армия и т. д. То есть — не только литературного, но и исторического рассказа. Возможно, понадобится комментарий к отдельным стихам, библиографические и биографические справки.

Воссоздание книги нуждается в совместных усилиях нескольких увлеченных идеей специалистов — с российской и польской стороны.

При этом выпуск такого двуязычного сборника, мне кажется, был бы интересен, полезен и уместен, имея в виду приближающеюся 60-ю годовщину захвата Польши.

«Знамя» 1998, № 7

Филип Байон Перевод Елены Шиманской

ВОЛГА, ВОЛГА

Из автобиографического романа «Тень дня»

Филип Байон *— режиссер, киносценарист, прозаик. Родился в 1947 г. в Познани, там же окончил юридический вуз. Выпускник режиссерского факультета лодзинского Государственного высшего училища кинематографии, телевидения и театра (1974). Создатель многих известных кинофильмов, в частности «Ария для атлета», «Магнат», «Бал на вокзале в Колюшках», «Канун весны». Опубликовал также несколько романов и сборник рассказов. Роман, отрывок из которого мы публикуем, только что вышел в издательстве «Еден свят».*

— Когда наш корабль отплыл из Москвы и взял курс на праматерь всех рек Волгу, я знал, знал наверняка, что все мы вернемся сюда более сплоченными и в иной общности духа, нежели неделю назад, когда покидали мы это место, — начал православный батюшка свою речь к участникам этого удивительного фестивального плавания, в котором я участвовал в 1997 году. Это был своего рода всеславянский кинофестиваль, который проходил на пароходе, целую неделю плывшем по Волге под духовным попечением тридцати священников — русских, болгарских, сербских, украинских и белорусских.

— Когда наш корабль отплывал из Москвы, — продолжал батюшка, — нам предстояло исполнить великое духовное дело, дело обновления духовной общности славянского мира, который призван теперь являть пример всему торгашескому Западу. Славянский дух — вот то изначальное знание, которое приведет к тому, что наша духовность победит во всем мире. Когда мы отплывали из Москвы, мы знали, что вернемся сюда, исполненные серьезности нашей миссии. Наш корабль вернулся в духовную столицу мира, в Москву, ибо она и есть источник, из которого мы можем просиять. Вернутся и другие корабли, которые ушли отсюда в неведомое и затерялись. Они будут возвращаться один за другим, ибо есть лишь одно направление поисков утраченного Западом духа, утраченной духовной силы, и это направление указали мы, черпая духовные силы из праславянской царицы рек Волги и возвращаясь к источнику духа, к Москве, — так вещал в Колонном зале наш пароходный проповедник, в том зале, где некогда, в марте 1953 года, было выставлено тело Иосифа Сталина.

Иосиф Сталин велел разрушить храм Христа Спасителя, и на месте взорванного храма появился открытый бассейн с подогреваемой водой для москвичей. Если бы каким-то чудесным образом подняться на пятьдесят метров вверх над находящейся у кремлевской стены могилой Сталина, можно было бы увидеть восстановленный храм Христа Спасителя. И этот восстановленный храм, и Сталин, и тот поп, подводивший итоги нашего рейса, входили в духовный пейзаж этого места. Когда перед отплытием нас пригласили на трехчасовую православную литургию в том соборе Кремля, где короновали русских царей, нам выдали специальные приглашения, благодаря которым мы преодолели многочисленные пропускные посты, чтобы попасть на эту службу.

Спустя час я вышел наружу и увидел рыдающего юношу, похожего на князя Мышкина. Его эпилептические содрогания и ужасающий плач были невинны, как весенний дождик, лениво накрапывавший над Москвой. Бедняга сокрушался,

* Здесь и далее выделенное курсивом — по-русски в тексте. — *Ред.*

что его не впустили на литургию, не впустили к Богу, закрыли врата, унизили. Его отчаяние было столь безмерно, что все стоявшие вокруг *бабушки** успокаивали его и гладили по голове. Пока наконец не вышел батюшка, и к нему обратились за помощью эти до глубины души переживавшие бабы. Батюшка подошел, обнял ладонями лицо юноши, прижал к себе и поцеловал, и бедняга тут же успокоился, как по мановению волшебной палочки. Потом батюшка осторожно подхватил его и ввел в храм, где когда-то короновали царей. Князь Мышкин обрел спасение.

Волга — великая река. Реки — как деревья, у них галлюциногенная форма. Когда смотришь на них, на это их монотонное течение, то, как бы ты ни сопротивлялся, непременно впадешь в раздумья. Река — это лирическая форма, так же как море — эпическая. Мудрый Томас Манн прекрасно знал, что делает, когда устанавливал свой писательский столик на пляже с видом на море. Из моря возникали его эпические формы, как из Рейна — Лорелея Гейне. Как-то жаркой весной 1968 года я шел по набережной Сены с приятелем из Youth Hostel'a, американским хиппи. Мы шли к центру Парижа, к тем платанам, которые вот-вот будут вырублены бунтующими студентами; вот-вот Арон выскажет свои сомнения, а Сартр напялит маоцзэдуновку и смешается с толпой взбунтовавшейся молодежи.

Уже бурлил Нантер, когда мы с Полом шли по набережной Сены и смотрели на постепенно открывавшиеся нам башни собора Парижской Богоматери. Мой спутник вдруг остановился и, глядя на Сену, сказал: «River is a source of life», то есть «Река — это источник жизни», — явно не имея в виду ее мелиоративную силу. Наверное, он имел в виду ее неустанное движение, убегание, изменчивость — честно говоря, я не знаю, что имел в виду Пол, но эту фразу я запомнил на всю жизнь, и она вспомнилась мне, когда я плыл по Волге с этими моими батюшками.

Каждый раз, когда я вижу реку, мне на ум приходит эта фраза, и я вспоминаю Пола, длинноволосого хиппи из Сан-Франциско, о котором я не знаю ничего, кроме того, что именно он произнес слова, запомнившиеся мне на всю жизнь. Сейчас я плыл по Волге, когда-то вместе с Полом шел вдоль Сены, вскоре поплыву по Миссисипи из Сен-Луи в Мемфис, и возникает такое ощущение, что все мои путешествия соединяет схожая мелодическая линия и схожая инструментовка.

С верхней палубы парохода я всматривался в зеленеющие берега Волги, где стояли дачи с доступом к реке, выкрашенные, как правило, в белый или голубой цвета. На этих берегах кипела какая-то бурная жизнь, совершенно мне неведомая. Когда-то мне встретился один русский, у которого была дача на берегу Волги, и он тогда горячо приглашал меня к себе, а я размышлял, как же выглядит это место, где он проводил время, сочиняя сценарий по Достоевскому.

Теперь этих дач у меня было *сколько угодно*, я мог воочию убедиться в том, что некогда существовало лишь в моем воображении. Я встретил Андрея в 1988 году на каком-то семинаре в Париже, он мне тогда сказал, что впервые оказался на Западе. Этот Запад он никак не оценивал, вел себя сдержанно, рассказывал о Волге и о даче, где в одиночестве может сосредоточиться на том, что пишет. Лишь в последний день он поделился со мной своими размышлениями о Западе, рожденными в странствиях по Парижу, а особенно в упорных прогулках по Елисейским Полям, которые, как потом оказалось, затянули его, но чем! — скоплением самодовольных, сытых лиц, валящих от Этуали до Place de la Concorde. Утром он спустился завтракать — в гостинице по окончании семинара нас осталось только двое, — подсел ко мне, как всегда, и не спросил про настрое-

ние, а впал в задумчивость, которая всегда тягостна для собеседника, даже если беседа еще не началась. Мне было знакомо это болезненное состояние перед возвращением в коммунистическую зону, но мой диагноз оказался ошибочным. Мой Андрей был точно герой «Ностальгии» Тарковского. Он радовался, что возвращается в эту безмерность одних лишь знакомых ему значений. Выходит, не русофобия была причиной его задумчивости.

— Знаешь, — он взглянул на меня и помолчав заговорил, — знаешь... я снова часами напролет бродил по Елисейским Полям, глядел на лица этих людей, всматривался в них, видел их одежду, их магазины, их автомобили, видел их глубокое удовлетворение, даже больше, смело могу сказать, что видел их счастье. И только одного не могу понять. На один вопрос не могу себе ответить... Думают ли они о смерти? Как ты думаешь, Филип? Ты здесь бываешь чаще. Думают ли они о смерти?

Что мне было ему ответить? Что я не знаю? Что в моей Познани таких вопросов не задавали? «Думаете ли вы о смерти, господин адвокат? Думаете ли вы о смерти, господин ректор? Думаете ли вы о смерти, господин советник?» — такие вопросы когда-то стояли у застав нашего города, да в город допущены не были. Ведь то была грозная и враждебная Азия, от которой следовало отгородиться. Смерть в Познани была явлением достойным и возвышенным. Была, можно сказать, точкой над «i». Какое кому дело, думает человек о смерти или нет? Настолько люди в Познани не раскрывались. Они не отнимали у смерти достоинства, болтая о ней, что в голову взбредет. Да и что дала бы такая болтовня? Приостановила бы отмирание клеток? Чушь. Так зачем болтать? Зачем болтать?

На горизонте появлялись все новые белые и голубые дачи на берегах Волги, я смотрел на них сверху, с моей третьей, верхней палубы московского парохода, и чувствовал, что в каждой из них кто-то сидит и думает о смерти от моего имени. Время от времени ко мне подходили батюшки, целовали в лоб и осеняли крестным знамением, ибо и мне предстояло вернуться по этой реке рек в Москву, к первоистокам Всего. Они относились ко мне немного как к «отделенному брату», который только что вступил в НАТО, а вскоре вступит в Евросоюз и навсегда оставит славянофильский мир. И вот они осеняли меня крестным знамением и спрашивали: «*Как живешь?*» — и в этом вопросе, так отличающемся от нашего «Как дела?», подспудно содержался другой вопрос: «Думаешь ли ты о смерти?»

Не ускользнешь так просто от гипнотического взгляда батюшки. Его взгляд проверяет глубину твоей духовности, твои эсхатологические склонности. Его не обманешь так легко, как католического священника. Католический священник все сомнения толкует в твою пользу, православный же батюшка пронзает тебя взглядом, припирает к стенке, и хочешь не хочешь, а ты превращаешься в маленького Раскольникова, который тут же готов признаться, что убил-таки старуху топором, даже если это всего лишь топор твоего воображения. Да, отче, я думаю о смерти, эти мысли навязчивы, они посещают меня неожиданно, чаще всего тогда, когда интеллект задремлет или когда созерцаешь какую-нибудь несущественную деталь вроде резиновых шлангов на Крите, который был то Азией, то Европой, который был мощным авианосцем для азиатской культуры, оставляющей за собой вонзившиеся в солнечный диск острия минаретов с мусульманским полумесяцем. Больше Кносса или Археологического музея в Ираклионе мне запомнились резиновые шланги, которые орошали сухую землю острова; эти шланги были его кровеносной системой, его артериями, венами и аортами. Тридцать лет спустя после первого пребывания на острове я вижу, как эти шланги его по-прежнему оплетают, скрученные, растянутые, зеленые. Повторное посещение Кносса или Археологического музея лишь укрепило меня во мнении, что старая минойская культура по-прежнему жива, что орнаментика весьма современна, чайнички заимствовали форму у животных, а патеры и подсвечники — у растений и что в этом подражании природе кроется тайна всех форм тогдашней керамики. И на самом деле не имеет значения, насчитывает ли минойская культура пять тысяч лет или три тысячи и была ли она мостом между египетской и греческой культурой, ибо след, оставленный ею, столь бесспорен и оптимистичен и настолько меня увлекает, что даже у минойских саркофагов я не думаю о смерти, а сведения о Кноссе — что, возможно, это был не дворец, а некрополь — тоже не заставляют меня думать о конце жизни. А уж эти резиновые шланги и подавно. Хожу и гляжу: красная земля и шланги. Тридцать лет назад я отправился на долгую про-

гулку вместе с одной швейцаркой из Базеля, и тоже была красная земля и резиновые шланги, и я сделал эти шланги главной своей литературной метафорой, описывая пребывание на этом острове.

Никогда я так далеко не сбегал от коммунизма, как в октябре 1973 года, когда, выйдя рано утром на палубу из своей койки третьего класса, я увидел красные контуры этого прекрасного острова. Вид с корабля всегда многое обещает, многое — может, по той же причине — обещал и вид с нашего парохода, идущего по Волге, когда батюшка своим гипнотическим взглядом поймал меня на размышлении о смерти. Не люблю я этот азиатский рентген, ибо Познань учила нас возводить вокруг себя стены и валы, учила нас затягиваться в безупречные корсеты, учила строить личные фортификации, поэтому мы еще детьми прекрасно лавировали среди бункеров, которые и созидали мифологию нашего детства, а вовсе не оранжереи с млеющими на воде лилиями, хрупкими и нежными. Потому-то этот познанский корсет так удобен для художественного наблюдения, ибо за каждой условностью скрывается тайна, как за каждым крупным состоянием — преступление. И ничего не могу поделать, но меня смущает такое глядение прямо в глаза, буравящее до боли, шпионящее и вытягивающее на поверхность самые сокровенные мысли. Мое внутреннее ухо работает, и мой автопилот включен. Чтобы выключить его, дорогой батюшка, придется нам выпить водки. Автопилот не любит водку, как дьявол священую воду. А ты же, как никто другой, знаешь, какие у дьявола идиосинкразии.

И мы спустились на нижнюю палубу, где как раз веселились сербы, пели свои сербские песни и пили сливовицу, ибо именно их страну бомбили войска моего НАТО. Мы подсели к ним и принялись пить их сливовицу, а они не возражали, потому что хоть их страну бомбило мое НАТО, но я пришел сюда с православным батюшкой, который давал мне право находиться в их обществе и пить их сливовицу, ну мы и пили, чтобы забыть о смерти. Сербы — о своей смерти, а я — о моей, с надеждой, что вновь смогу подключиться к кровеносной системе всех орошающих Крит резиновых шлангов. Трогательные песни о Великой Сербии разносились по всем палубам, привлекая к нашему питейному центру все заблудшие славянские души, жаждущие братания и подтверждения общности.

Появился Коля Бурляев с сыном и молоденькой женой, любимый актер Тарковского, тот самый, которому в «Рублеве» не удалось отлить колокол с соответствующим звучанием, тот самый, что страдал в «Ивановом детстве», а теперь был в смокинге с большим царским орденом в петлице. Великоросс, несущий этот славянофильский ковчег завета на собственных плечах; появился актер Гостюхин, который так прекрасно сыграл водителя грузовика в кинофильме Михалкова «Урга» и который в сцене в кабаке объяснял приятелю-монголу, что растеряли мы где-то наших дедов и прадедов, потому что стало нам на них наплевать, потому что всё-то мы перезабыли... перезабыли, и тогда он вставал и, подойдя к игравшему танцевальную сборную солянку китайскому оркестру, рвал на себе рубашку, выставляя напоказ оркестру свою спину, на которой были вытатуированы ноты вальса «На сопках Манчжурии», и приказывал оркестру играть по тем нотам, что были вытатуированы у него на спине, и этот оркестр играл и играл, не переставая, поэтому я, когда светало, подошел к Гостюхину и попросил, чтобы он спел для меня «На сопках Манчжурии», и Гостюхин пел своим прекрасным бас-баритоном, и становилось так трогательно, так широко и раздольно, как будто Волга разлилась до самой Манчжурии. После такого утреннего пения Гостюхин вставал и отправлялся в заранее приготовленную для него стоградусную баню, где и сам разогревался до этих ста градусов, а потом купался в холодной воде и вообще не ложился спать, а продолжал свое путешествие, ибо предыдущий день сливался у него со следующим в одно неразрывное целое. А еще пришел президент крупной польской продовольственной фирмы, который торговал с русскими и оплатил ужин для верхушки фестиваля. Президент пришел с двумя ближайшими своими сотрудниками, в прошлом гэбэшниками, и в их глазах закалялась сталь. На пароход они сели во время стоянки в одном из приволжских городов, где у них была налажена промышленная линия по производству этих самых польских деликатесов, и они сразу же стали главными заводилами на нашем пароходе. По возвращении в Москву у них была условлена встреча с Чубайсом, вторым после Ельцина человеком в стране. Они ожидали, что Чубайс даст им концессию на новые заводы по производству польских продуктов, и посему находились в прекрасном расположении капиталистического духа. Чу-

байс мог эту концессию дать или не дать, все зависело только от его собственной прихоти. Неплохая была халтурка у Чубайса, и, думаю, многим бы хотелось ее отнять у него, но Чубайс оберегал ее как зеницу ока. Не каждый мог встретиться с Чубайсом — Византия всегда была недоступна и таинственна.

Сливовица и сербское пение сделали свое дело, постепенно настроение переросло в общеславянское, пришли украинцы, белорусы, болгары, русские, сын Коли Бурляева начал играть на пианино старые русские мелодии, известные большинству слушающих и пьющих гостей, так что они сразу подхватили их и дружно запели, предоставив конфузиться нам, полякам, и сидящим рядом грузинам, которые с этим славянофильством не имели ничего общего, а лишь внимательно следили за ходом событий своими огромными грузинскими очами, и на их лицах появлялись легкие усмешки. А я, что же я? По мере распития алкоголя желание погостить в российской культуре во мне росло и набирало силу. Кстати, я заметил у себя некий синдром, который проявляется у меня только в России, когда я выпью там водки.

Этот синдром можно принять за постоянную величину: по мере усвоения выпивки во мне растет потребность слушать баллады Володи Высоцкого. Сначала она осторожно копошится где-то в закоулках мозга, потом становится активнее, я начинаю вспоминать слова, несмело напевать, расспрашивать про Володю Высоцкого и сам рассказывать о том, какой чудесный вечер его памяти устроил Даниэль Ольбрыхский в театре «Старая проховня» после смерти Володи, с которым он дружил. Они носились по никудышным польским дорогам со скоростью двести километров в час на своих «мерседесах» — они же были как мальчишки и любили такие забавы в те времена, когда милиция еще не имела радаров, а вертолеты использовались не для патрулирования дорог, а для того чтобы доставлять членов политбюро в зимние морозы на новогодние балы. Вот так потихоньку, постепенно этот Володя Высоцкий выбирался из моей головы, и надо было немедленно что-то делать. Так для чего же здесь сын Коли Бурляева, который играл на пианино нечто трогательное, тогда как под этой клавиатурой был скрыт динамит баллад Высоцкого? Я попросил его раз, попросил другой, но безрезультатно: Колин сын продолжал исполнять нечто трогательное, а Высоцкий куда-то пропадал. Сначала я думал, что всему виной царящий вокруг шум разговоров и поэтому мой концерт по заявкам исчез из эфира кабака на пароходе, но тут я понял, что он исчез намеренно, что его намеренно не замечают и не подхватывают.

Быть того не может, чтобы мой призыв остался без ответа. Ведь Володя Высоцкий — это же бард, ведь благодаря ему мы полюбили эту азиатскую культуру без всякого административного принуждения. Высоцкий — это не был «ноябрь, месяц советского кино», это не было какое-то официальное торжество по случаю и в честь, это был самородок, которого мы ценили и любили, ибо он говорил нам об азиатской России гораздо больше, чем павильон Страны Советов на Познанской ярмарке. А тут вдруг эта стена молчания и немой глухоты, сквозь которую мне не удается пробиться с моим требованием, с моей просьбой, вовсе не такой уж сложной и опасной. Она скорее подобна просьбе верноподданного, ведь я, отделенный брат, на коленях молю о малом кусочке песни, песни их великого барда. Хряпаю очередную порцию водки и упрямо продолжаю просить, требовать; я уперся, я разозлился, что меня не слышат, а возможно, и прикидываются, что не слышат, ибо как-то странно обходят меня взглядом, избегают что ли, хотя и пьют так же, аж дым стоит, и тут я к нашему солисту, пианисту, кладу руки на клавиатуру и требую Высоцкого, а он мне отвечает, =что не знает. Не знает Высоцкого? Гамлета своего не знает? Как это не знает? Величайшего барда не знает? Запевалу нашего лагерного не знает? Мужа Марины Влади не знает? А он свое — не знает, и все тут. Да даже если б знал, то и тогда бы не сыграл, потому как во всей России необъятной найдутся десятки тысяч бардов крупнее и лучше, чем эта мразь Высоцкий. Ну я тогда за помощью к смокингу отца с его царским орлом в петлице: дескать, помоги, брат, Володю мне не хотят сыграть, а ведь я тут у первоистоков, да как же это, Коля, получается, что не хотят его играть?

— И правильно, и правильно, — говорит Коля, у которого уже ничего не дымится, так как он впал в полную трезвенность, когда чуть было не отдал концы от многолетнего пьянства, а теперь вот с царским орлом в петлице идет навстречу нравственным ценностям, великорусским и славянским.

— И не будем его играть, пусть его играют там, на этом загнивающем Западе, в «Распутине» на Boulevard Sebastopol. И пусть думают, что он наш дух выражает лучше всех. Пусть так думают, то-то удивятся.

И Коля посмотрел на меня как-то так трогательно, дружески, обнял меня крепко, как будто меня обнимал сам царь-колокол, и сказал:

— Эх ты, полячишка... полячишка... как легко вас обмануть... Как же ты ничего не понимаешь.

— Чего не понимаю? — спросил я и заглянул в трезвеннические глаза великого актера Тарковского.

— Ну, Высоцкий, он *еврей*... — говорит.

— Постой, постой... — говорю я, — но разве Горбачев, перестройка и гласность ничего не изменили? При Брежневе он, может, и был *еврей*, но при Горбачеве...

— Горбачев тоже *еврей*, он предал Россию, всадил ей нож в спину... А теперь Ельцин всаживает его еще глубже.

— Так Ельцин?.. — спрашиваю я, переходя на конспиративный шепот... Он взглянул на меня осуждающе и развел руками, как конферансье, который рассказывает своей публике один и тот же анекдот.

— Ельцин... конечно... это же само собой... *еврей*.

— Ельцин — *еврей*?

— Конечно.

Он стоял передо мной, нарочито вытягиваясь и гордо выпячивая грудь с царским орлом. Я подумал, что ему не удастся так легко от меня отделаться, ведь Ельцин прислал по случаю фестиваля специальное письмо именно ему, Коля зачитал его в Колонном зале, а Патриарх всея Руси Алексий II лично открывал фестиваль и благословил нас на это плавание по Волге. Так что если Ельцин, так, может, и Патриарх?

— А глава православной Церкви Алексий II тоже *еврей*? — смело задал я вопрос.

— Я так думаю, — ответил он, сама непреклонность.

Он несомненно шел по следу какого-то крупного еврейского заговора, и я хотел убедиться, до каких вершин, по его мнению, этот еврейский заговор добрался.

— А Папа римский? — спросил я. — Иоанн Павел II... тоже *еврей*?

На минуту он помрачнел, покачал головой, словно был не до конца уверен в полноте собранной им информации. И изрек:

— Может быть. Кто его знает?

Я покивал головой.

— Значит, не сыграете Высоцкого?

— Не сыграем, — твердо ответил Коля. Так на протяжении всего оставшегося вечера я был одиноким островком в своей любви к Володе Высоцкому и его чудесным балладам.

Опечаленным я вернулся к батюшке, который уже чертил крест над моей несчастной головой с теперь уже солидно выдававшимся внешним ухом. Оно было чувствительнее любого стетоскопа и обзавелось лазерной наводкой. А батюшка это заметил.

— Не суди нас, — шептал он мне на ухо. — Я уже вижу по твоим глазам, что сейчас ты станешь нас судить. Помни, что ты — отделенный брат, мы пригласили тебя, чтобы ты посмотрел, как наши резиновые шланги оплетают нашу общность, от которой ты теперь отделяешься. Наши резиновые шланги соединяются с теми, что на Крите, и с теми, что в Сербии, и с теми, что на Сахалине, куда ты хотел бы поехать, чтобы снять свой фильм. Мы поможем тебе, мы дадим тебе российский паспорт, ты только вклеишь туда свою фотографию и будешь свободным человеком, сможешь перемещаться по всей матушке-России, как вольная птица. Сможешь добраться, куда вздумается, всюду получишь помощь, питание и кров. Ты отключил свой автопилот, отключил внутренние уши, не слышишь шороха собственной крови, теперь к самым дальним уголкам ведут тебя лишь те резиновые шланги, которые тридцать лет тому назад так были тобой облюбованы. Они помогут, выведут тебя. Поэтому ты не сердись на Колю; ведь когда он бросил пить и впал в трезвенность, ему надо было найти врага. Тогда он придумал, что водку изобрели евреи. Когда он отрезвеет от своей трезвенности, все снова придет в норму. Не суди нас, брат отделенный, ведь мы открываемся перед тобой, как тот старый фокусник перед юным учеником. Ибо мы — и источник, и устье.

Он посмотрел на Колю Бурляева, слегка кивнув головой, и Коля объявил для друга из славянской Польши, по его просьбе, «Охоту на волков» Володи Высоцкого в исполнении своего сына, который чудесным образом вдруг не только вспомнил ноты этой баллады, но, как оказалось, и спеть ее смог.

А корабль все плыл. Не раз я вспоминал фильм Феллини и появлявшихся на палубе сербов, когда мы всё плыли и плыли сначала по течению, а потом против течения реки к Москве. Был конец мая, день был уже длинным, берега Волги радостно зеленели своей первой, такой невинной зеленью, и когда утром первые лучи солнца касались всех трех палуб парохода, мы покидали наш межпалубный кабак и выходили на дек, слегка дрожа от холода и наслаждаясь этим восходом солнца над Волгой, который придавал всему блеск больничной чистоты. Еще ритмично приплясывали двое польских бывших гэбэшников, еще польский бизнесмен все старался заверить Колю Бурляева, что он обязательно обратится к Чубайсу с просьбой о дотациях на фестиваль, еще притопывал украинский танцор, еще грузинка-режиссер, обмотав вокруг головы шаль, с сигаретой в зубах шла в сторону перил, еще редактор белорусского телевидения пытался доказать, что сумеет встать на голову, еще русский режиссер, отучившийся в Германии и вернувшийся в Россию спустя десять лет, расставлял шахматы, чтобы померяться силами со знакомой болгаркой, еще актер Гостюхин пропел на прощанье «На сопках Манчжурии», помахал нам всем рукой и унес свое красное лицо в находившуюся на первой палубе баню, которая ожидала его раскаленная, еще... еще... еще... но вообще-то на самом деле занимался день, в сеть попадались первые рыбки, первые лодки выплывали на реку, и самые высокие церковные купола улавливали блеск первых солнечных лучей.

Через несколько часов мы причалили к берегу, где нас ожидал военный оркестр, игравший приветственный марш, а женщины в национальных костюмах встречали нас хлебом-солью. Корабль с артистами стал огромным событием для приволжских сел, и в палитру этого события входила служба в местной церкви и визит в мэрию, включавший угощение. Однако я довольно скоро отделился от официальной экскурсии и предпочел самостоятельный путь, который привел меня к ларьку с пивом. Еще не усвоенный организмом алкоголь, выпитый предыдущей ночью, требовал чего-нибудь тонизирующего. Я остановился перед ларьком и с любопытством рассматривал его витрину. Мы были в небольшом городке, в этакой закоснелой российской провинции, несколько пыльной и серой, но ларек выглядел как картинка Энди Уорхола. Передо мной в его витрине стояли все сорта пива, известные в мире, свои улыбки мне посылали все марки пива, от советских еще пивных заводов до немецких раритетов и лучших марок бельгийского. Здесь, в этом маленьком российском городке, я мог угоститься пивом, как на главной улице Брюсселя. И тогда я взял самое популярное российское пиво, про которое говорили, что оно пахнет ослиной мочой, однако это был вкус всего того пива, что было выпито на регламентированном пивном рынке коммуняк, от Ястарни до Августова, когда мы с поэтом Юреком Гужанским волокли чудом раздобытые ящики пива в наш кемпинговый домик у Белого озера и, заполучив этот ящик пива с запахом ослиной мочи, ощущали себя королями жизни. То был словно золотой самородок, найденный в шахтах Якутии или Южной Африки, то был наш бриллиант «Кох-и-нор» на аукционе у Картье, то был запах всех прекрасных девушек, которых мы обнимали в семидесятые годы, когда одна рука лежала на плече девушки, а другая — на бутылке пива с запахом ослиной мочи. Теперь такое пиво я нашел в маленьком губернском городке центральной России, и это было подобно тому, как если бы я нашел на чердаке старую бабушкину сумочку, с которой она бывала на балах в купеческом собрании, сумочку, набитую царскими рублями и шариками нафталина. Я уселся на приступочке у ларька с этим воняющим ослиной мочой пивом и всматривался в этот губернский городок, который в XIX веке выглядел так же, как теперь: в его декорациях можно было бы ставить Чехова или Достоевского без всякого применения каких бы то ни было компьютерных эффектов. Единственным свидетельством того, что меняются времена и проходят годы, был этот стоявший рядом ларек со всеми марками пива. Но и его можно было бы заслонить сценографическим забором, и тогда все вернулось бы вновь к привычной норме XIX века.

RZECZPOSPOLITA

Я НЕ БЕРУ НА СЕБЯ РОЛЬ ПРОРОКА...

Беседа с Ежи Гофманом

Знаменитый польский режиссер хорошо известен зрителю на территории бывшего Советского Союза. С его именем связана экранизация известных исторических романов Генрика Сенкевича «Потоп» и «Огнем и мечом». Последний фильм Ежи Гофмана, съемки которого режиссер почти уже закончил, — тоже посвящен исторической теме. Это документальный фильм под названием «Украина. Рождение нации».

— В своем фильме вы затрагиваете популярную сегодня тему «оранжевой революции». Однако, насколько я знаю, идея снять фильм об Украине пришла к вам гораздо раньше, чем там произошли революционные события...

— Да, можно сказать, что я подумал о подобном фильме после прочтения изданной несколько лет назад книги Леонида Кучмы «Украина —не Россия». Съемки мы начали гораздо раньше событий на Украине, связанных с выборами. Конечно, мы обращаемся и к теме «оранжевой революции». Мы собираемся говорить в нашем фильме не только об истории, но и о сегодняшним дне. Но мы не делаем никаких выводов, поскольку сейчас всё в руках самого украинского народа. Я не беру на себя роль пророка. Моей задачей было показать историю Украины со времен Киевской Руси до наших дней. Я стараюсь проанализировать на основе документов, летописей, фотографий, архивных материалов и кадров из художественных и документальных фильмов, как на протяжении многих веков создавалась украинская нация. Как она боролась и продолжает бороться за свое право на самоопределение.

— В последнее время в прессе часто повторяют, что** Украина — это не Россия. **Эти слова становятся заголовками статей, лейтмотивом конференций... Как бы вы расшифровали это утверждение?

— Для того я и снимаю этот фильм, чтобы это понять! Он состоит из трех частей, по пятьдесят минут каждая. Действительно, в течение долгого времени нам пытались внушить, что Украина составляет с Россией единое целое. Однако это исторический факт, что на территории Киевской Руси под влиянием, в частности, татаро-монгольского ига сформировались три разных народа — русский народ, украинский и белорусский. Факторов, закрепивших появление новых народов, было множество. Я пытаюсь показать, какую роль, к примеру, сыграл народный фольклор в самосознании украинцев, что значила для них поэзия Тараса Шевченко, каким образом появилось казачество и как оно себя проявляло... Много интересных исторических нюансов. Мои многолетние размышления о том, что представляет собой Украина и ее народ, и привели к съемкам этого фильма.

— Для какого зрителя предназначен ваш фильм?

— Для самого разного. С одной стороны, он, конечно, адресован украинскому зрителю. С другой стороны, я обращаюсь и к зрителю российскому, польскому, а также ко всем людям, которые увлекаются историей, особенно вопросами формирования наций. Я выступаю в этом фильме в качестве рассказчика, говорю на польском языке. Мои слова будут переводиться на русский, украинский, французский, немецкий языки.

— Как восприняли фильм ваши украинские коллеги? Встретились ли вы с поддержкой вашей идеи или, наоборот, с сопротивлением?

— Моя идея была воспринята, я бы сказал, с энтузиазмом. Я хочу отметить также и большую помощь в доступе к различным материалам, которую я получил на Украине. Первая часть моего фильма была представлена на международном кинофестивале «Молодость», который прошел в Киеве в октябре 2005 года. Реакция на мой фильм была очень хорошей, было множество аплодисментов. Меня это искренне порадовало.

— Для вас в этом фильме важна ценность художественная или научная?

— Если говорить о научной ценности этого фильма, то я пользуюсь материалами известных историков — в основном украинских. Хочу подчеркнуть, что я обращаюсь к работам историков, принадлежащих к различным научным школам, в том числе к тем, кто сейчас занимается исследованиями в Гарвардском университете. Безусловно, это фильм субъективный: я сам отбираю материал, это мое видение. Если говорить о художественной ценности этого фильма, то это должен оценить не я, а мои зрители. Я планирую закончить съемки уже в начале 2006 года. Могу только отметить, что я старался воздействовать на зрителя не только посредством информации, но и эмоционально. Надеюсь, мне это удалось.

Беседу вела ***Виктория Дунаева***

Лешек Шаруга

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

В том замешательстве, которое сопутствует гонке повседневности, мы редко задаемся основополагающими вопросами. И, наверное, правильно делаем, а то от таких вопросов и сбеситься можно. И все-таки это не значит, что время от времени к ним не следует возвращаться. Один из таких вопросов: «Что есть истина?» — стал предметом дискуссии, проходившей в мае в Варшавском университете. Выступления участников дискуссии напечатаны в газете **«Жечпосполита»** (2006, №117).

Этот цикл открывается выступлением Лешека Колаковского «Вопросы, не поддающиеся умерщвлению»:

«Как ответить на вопрос Пилата? Я на него, разумеется, не отвечу. Не ответил на этот вопрос, как известно, и Сам Иисус. (...) Если мы, согласно аристотелевской традиции, отвечаем, что истина есть соответствие мысли и действительности или соответствие наших суждений и действительности, это выглядит просто. (...) Когда я был студентом, меня учили, что определения истины делятся на две категории. Истина определяется как соответствие действительности или соответствие критериям. А это совершенно разные понятия. (...) Определение истины как соответствия действительности много раз подвергалось сомнению или считалось малопонятным. (...) Если мы рассматриваем некое суждение, которое должно быть истинным и, стало быть, соответствовать действительности, то мы, собственно, не вполне понимаем, что это значит. Где оно ей соответствует? В чем оно ей отвечает? (...) Аристотель говорил: вещи суть причина истинности. Конечно, если таково наше определение истины, то мы должны обладать критериями, с помощью которых приходим к ней. Но мы не определяем истину этими критериями. Однако мы должны их иметь. (...) Если же у нас есть критерий, который, как мы считаем, приводит нас к истине, то для того, чтобы верить в эффективность, в достоверность этого критерия, мы должны иметь другой критерий, который нас в этом упрочит. А этот другой критерий подлежит тому же возражению, и мы оказываемся в бесконечном регрессе. Выходит, нет критерия истины. И, значит, нет истины в том значении, в каком мы хотели бы ее иметь».

Все это звучит весьма абстрактно, но это отнюдь не абстрактно. Обсуждая различные критерии истины, применяемые в науке и практической жизни, и показывая их недостаточность, Колаковский в то же время говорит, что это не снимает, не устраняет из нашей жизни все тот же основополагающий вопрос: «Что есть истина».

И вот дальше мы читаем у Колаковского, что, несмотря на трудности с определениями, «люди хотят знать, как оно есть на самом деле, как устроен мир. Какова действительность. В особенности если речь идет о разнообразных религиозных верованиях. Как всё устроено? Откуда я пришел в этот мир? (...) Целенаправлен ли мир, в котором мы живем, или это бессмысленное движение бесчисленных атомов, не имеющее никакой цели, никакого смысла? И что такое добро и зло — просто наши условности или реальные свойства вещей? Всё это вопросы, от которых невозможно отмахнуться, изгоняя их из человеческих умов. Это вопросы такого рода, что люди хотели бы получить на них подлинный ответ, то есть знать, как оно есть на самом деле, как оно есть в действительности. (...) Если бы они [эти вопросы] исчезли, провалились сквозь землю, никого больше не интересовали, это была бы какая-то странная культурная мутация, которую мы даже не в состоянии описать».

Когда я наблюдаю нашу жизнь, у меня появляется неясное ощущение, что эта мутация, собственно говоря, уже происходит. А если еще нет, то мы от нее на расстоянии одного шага. Но, может быть, вместо того чтобы идти прежним путем, мы пойдем иначе? Такую надежду дает другое выступление в рамках той же дискуссии — «Продолжение всегда неизвестно» Кшиштофа Михальского:

«Истинное знание говорит о том, каков есть мир. Между тем Христос призывает своих слушателей оставить этот мир (...) и идти за Ним. (...) В присутствии Христа (...) все прежние значения вещей оказываются непрочными, хрупкими, временными. Существующий мир, убеждает Христос, — это не всё. Это не самое главное. Обратим внимание, что Христос не говорит, куда пойдут те, кто пойдет за Ним, — Он есть путь. Он не говорит, как тогда будет выглядеть их жизнь: что она исправит, а что оставит, — Он есть жизнь. Он не хочет заменить то, что они знали до сих пор, каким-то другим, более истинным знанием (...) — Он есть истина».

Далее, обращая внимание на противопоставление «истины» и «жизни», которого требует Христос, Михальский пишет:

«Кода Иисус говорит «Я есмь истина» или говорит о ком-то, кто «творит истину», Он говорит о жизни, именно о жизни — не о соответствии действительности, не об истинном знании. Он говорит о той темной, таинственной стороне жизни каждого из нас, благодаря которой любая минута этой жизни может стать началом чего-то совершенно нового. Рассказ евангелиста Матфея о смерти Христа — лучшее тому свидетельство: перед самой смертью Христос в тревоге кричит: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Почему Он кричит, чего Он боится? Разве Он не знает продолжения этой истории, которая закончится хэппи-эндом? Нет, не знает. Продолжение этой истории всегда неизвестно. (...) Если это так, то истина, т.е. знание о том, что есть, — не представляет в этой жизни высочайшей ценности».

Тем более, что «знание о том, что есть» — это по сути дела знание о том, что было, и в этом понимании истина всегда относится к прошлому: суждение, говорящее, что нечто — есть, всегда оказывается более поздним по сравнению с тем, о чем оно говорит.

Третий из философов, принимавших участие в варшавской дискуссии, Владислав Стружевский, назвал свое выступление «Божественное знание»:

«Наша жажда истины — это, похоже, претензия абсолютная. А это значит, что мы хотели бы познать действительность, в том числе и самих себя, так, как познает ее Бог. Одно из определений метафизики, заимствованное в Средние века от Аристотеля, отождествляет истину со «scientia divina». Это определение обычно толкуют как «знание о Боге (или о Божественном)». Нельзя ли, однако, перевести его как «Божественное знание», имея в виду то знание, каким обладает Бог? Подозреваю, что таково глубочайшее чаяние метафизики... И в заключение — еще одно. Истина — дело ***всего*** человека. Не только интеллекта, но и чувств, и воли. В совокупном опыте, в который включены все наши силы, особенно же наша любовь, предмет нашей направленности способен явиться в самом полном свете и во всей своей красоте».

Так говорят философы. Но в дискуссии приняли участие не только философы — о понятии «исторической истины» интересно говорил Януш Тазбир в выступлении «История из учебника медицины». Мне кажется, это выступление было довольно важным в контексте той дискуссии об «исторической политике», о которой я недавно писал. Тазбир говорит:

«Особенно в стране, которая, как наше отечество, в течение трех последних веков была скорее объектом, нежели субъектом истории, исторической истине было трудно пробиться сквозь барьер цензурных ограничений — чужих и своих. Под «своими» я подразумеваю патриотическую или, если кто предпочитает, национальную цензуру, невероятно чувствительную к любым проявлениям критики, т.е. к такой картине прошлого, которая может принести удовлетворение захватчикам. Эта цензура охватила и воспоминания, из которых издатели и их меценаты довольно бесцеремонно вырезали «неподходящие» фрагменты. (...) Другим способом борьбы с исторической истиной бывал такой подбор фактов, который в целом создавал лживую картину прошлого. Когда в 1980 г. комиссия «Солидарности» приступила к пересмотру школьных учебников истории, ее члены с удивлением увидели, что учебники не содержат ложных сведениях о самих фактах. Однако факты были хитроумно отобраны и снабжены лживыми разъяснениями».

В заключение Тазбир сказал:

«Обучая истории, следует восстановить ее основные функции, которых она была лишена после 1795 года. Вместо того чтобы быть прежде всего объективным знанием о прошлом, она представляла собой своего рода вексель, которым мы размахивали перед равнодушной к нашей судьбе Западной Европой».

Добавим: это был скорее всего вексель без покрытия, ибо нет оснований, по которым Западная Европа или кто бы то ни было другой должны были платить нам за зигзаги нашей судьбы.

Но вопрос об «истинности» не обходит стороной и литературу. На страницах приложения «Европа», перенесенного из газеты «Факт» в недавно созданный «Дзенник», идет дискуссия о связи литературы с действительностью и о роли литературной критики. Здесь стоит отметить статью Михала Павла Марковского, одного из самых динамичных критиков среднего поколения, «Долой декадентство» (2006, №22). Марковский пишет:

«Раз за разом возвращаются жалобы на неописанную действительность и на то, что писатели прячутся в башню из слоновой кости или (...) в «келью писца». Тогда критики говорят о необходимости отвечать на вызовы действительности и об ответственности перед историей и осуждают — либо обходят презрительным молчанием — литературные опыты, балансирующие на границе бесполезной артистичности, которые якобы подрывают нашу «веру в существование мира». Во имя действительности лавинообразно нарастает инфляция стадной банальности. Из чего рождаются такие аргументы? А рождаются они (...) из убеждения, что литература должна следовать духу времени, что она должна включаться в дела гуманизма, что она должна отодвигать в сторону соблазн автономии. Какое мировоззрение стоит за такими убеждениями? Да попросту марксизм или, шире, левое

мировоззрение. Тот, кто хочет, чтобы литература писала портрет с действительности, а не углублялась в душу (как известно, лишь относительную надстройку), чаще всего бессознательно оказывается в объятиях ангажированной критики, то есть — поставим точки над «i» — в высшей степени идеологизированной».

Одновременно Марковский указывает, что в этом раскритикованном им подходе наличествует буржуазный миф, признающий только «объективную» картину мира. Отсюда возникает важнейший вопрос:

«Кто решает, что реально, а что — нет? (...) Сама действительность устанавливает критерии истинности и решает, какие суждения о ней верны, а какие ошибочны. Тем самым действительность — как детерминирующее, а не детерминированное, как определяющее, а не определяемое — приобретает черты абсолюта. (...) Я считаю, что критик, который говорит, что действительность существует независимо от наших способов ее описания, а мы знаем, чту она такое, ибо располагаем таким проникновением в нее, которое свободно от идеологического налета, — что такой критик абсолютизирует действительность и тем самым ликвидирует возможность спора о ней. Нет ничего более спорного, чем действительность, и потому спорить о ней нужно».

По мнению Марковского, действительность существует только в истолковании:

«Из этой веры вытекает, что нет противостояния между языком и действительностью, зато существуют серьезные различия между мировоззрениями, используемыми для ее описания. Да, конечно, действительность существует, да только смысл ее меняется с каждым новым языком. Об этом-то и давайте говорить: о языках описания, об идеологиях, о мировоззрениях, о перспективах как литературы, так и ее исследователей, — а безнадежно пустые речи о самой действительности выбросим в мусор, ибо из их жалких судорог ничего не проистекает».

Хотел бы я, признаюсь, обладать таким хорошим самочувствием, какое демонстрирует Марковский, по существу исповедующий здесь веру в то, что дискуссию о действительности можно безнаказанно заменить дискуссией о литературе. Заменить-то, конечно, можно, но это же не означает, что при любых обстоятельствах мы с этой заменой выйдем сухими из воды. Да, можно глубоко верить, что нам навсегда дарована свобода дискуссии, позволяющая настолько абстрагироваться от реальных событий, чтобы и их рассматривать как художественное (идеологическое, мировоззренческое) творение — и всего лишь истолкование. Но эта вера столь же прекрасна, сколь и наивна, в чем горько убедился Бруно Шульц — на авторитет которого ссылается Марковский, — убитый в дрогобычском гетто. Конечно, не возразишь против того, что разные картины действительности сталкиваются друг с другом или взаимно пересекаются, и все-таки они не равноправны. Некоторые готовы ликвидировать все остальные и, бывает, добиваются в этом трагических успехов — иногда и с помощью самой литературы. И есть смысл подумать, что делать с этим фантом, тем более что подход Марковского в конце концов ведет к маргинализации культуры в общественной жизни. А эта маргинализация — о чем пишет в газете **«Жечпосполита»** (2006, №129) прозаик и критик Ежи Сосновский в статье «Культура, дурак!» — создает реальные опасности:

«В Польше (...) на протяжении многих лет занимались тем, как бы получше обругать интеллигентов: то они «лжеэлита» и пользуются «псевдоавторитетом», то не понимают правил рыночной экономики и свою бестолковость ошибочно принимают за проявление духовного благородства; об элитарной системе образования никто уже и заговорить вслух не решается. А ключ к вопросу составляет как раз молодежь: если не удастся обратить молодых людей к культуре в ее самой патетической функции, то мы и дальше на протяжении двух поколений будем источником дешевой рабочей силы для более культурных стран мира. Разве что нашу цивилизацию раньше сметет с лица земли более эффективный экономически Китай или серьезнее относящийся к вопросу «зачем живет человек» арабский мир. Но такого рода ликвидации нашего культурного отставания себе не пожелаешь».

Пожелать себе такое трудно, это верно. Но так же трудно и не заметить, что вышеупомянутая «патетическая функция» культуры уже самими людьми культуры в кругу нашей цивилизации рассматривается не только с иронией (ирония хоть что-то спасает), но со все бóльшим презрением. А те, кто знает правила рыночной экономики, погружают нас в пространство все более дебильной «массовой культуры».

Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• «Примирение, любое примирение требует труда, усилий, терпения и, главное, более широкого взгляда на историю, а не одной только болезненной исторической памяти, — сказал профессор Збигнев Бжезинский по случаю присуждения ему «Газетой выборчей» звания «Человек года». — Друзей следует убеждать в своей правоте, а не отталкивать с позиции морального превосходства. Чтобы сохранить и упрочить оптимальное положение, требуется также польское государство, сознательно укрепляющее в обществе демократическую культуру». В обосновании отмечено, что Збигнев Бжезинский награжден за заслуги в деле восстановления независимости Польши, укрепления нашей демократии и помощь в отстаивании польских государственных интересов. «Газета выборча» присуждает звание «Человек года» уже в восьмой раз — всегда в годовщину создания газеты, впервые появившейся на рынке 17 лет назад и ставшей первым независимым и официально выходящим печатным органом в странах восточного блока. В этом году юбилей «Газеты» сопровождался дискуссиями на темы «Россия Солженицына» и «Ислам в Европе».

• Премию им. Яна Новака-Езёранского получил в этом году Станислав Шушкевич, физик по профессии, член Белорусской Академии наук и первый президент независимой Белоруссии, в настоящее время председатель одной из самых сильных оппозиционных партий в этой стране — «Громады».

• Фестиваль «Два театра», оценивающий телевизионные и радиоспектакли, проводится уже шесть лет. В этом году его лауреатами стали: «Юлий Цезарь» Шекспира в постановке Яна Энглерта, спектакль, прозвучавший как отклик на современные занятия политикой, и радиоспектакль «Где же этот дешевый торговец?» Алиции Быковской-Сальчинской (пьеса написана специально для радио) в постановке Вальдемара Модестовича. Но самым главным было, пожалуй, то, что сказал на закрытии фестиваля новый директор Польского телевидения Бронислав Вильдштейн: «Я действительно отношусь к Театру телевидения очень серьезно, считая его чрезвычайно важным элементом программы (...) Спектакли Театра ТВ необходимы, телевидение обязано заново обращаться к классике, чтобы меряться с ней силами, по-новому ее прочитывать».

• О постепенно зарождающихся польских интернет-комиксах пишет Войцех Орлинский: «Интернет-комиксов в Польше создано уже много, но среди них не так много того, что «можно почитать», — в основном это короткие зарисовки в нескольких картинках. К любопытному исключению относится «Первая бригада» (...) выдержанная в модном с недавнего времени жанре фантастики, когда современные авторы представляют происходящее в XIX веке, пользуясь схемами фабулы, типичными для нашего времени (...) В этом направлении фантастики довольно часто наблюдается обращение к классическим персонажам литературы прежней эпохи и историческим конфликтам того времени (...) Сам по себе этот жанр как будто создан для польских писателей. В конце концов наше литературное воображение по-прежнему глубоко погружено в XIX век, а вдобавок там мы находим как нельзя лучше соответствующие фантастике сюжеты: тайные общества, общественные деятели-утописты и гениальные изобретатели. (...) Все началось с «Новых приключений Стася и Нели» [героев некогда крайне популярного романа Генрика Сенкевича «В пустыне и в дебрях»], оказавшихся лишь разминкой перед настоящим произведением, которым и стал цикл «Первая бригада». (...) В первых сериях мы узнаем о том, как Станислав Тарковский, сражаясь с агентами царизма, случайно знакомится в Сибири с Юзефом Пилсудским. В следующих сериях должны появиться, в частности, Феликс Дзержинский, Мария Кюри-Склодовская и многие другие интересные действующие лица. (...) Интернетный комикс «Первая бригада» — любопытное описание борьбы поляков за независимость, сделанное на языке массовой культуры».

• Почетным гостем 51-й Международной книжной ярмарки в Варшаве была Германия с ее неоспоримой звездой первой величины — уроженцем

Гданьска, лауреатом Нобелевской премии Гюнтером Грассом. Вторым выдающимся немецким гостем был поэт Ганс Магнус Энзенсбергер, который во время встречи с читателями, говоря о своей стране, сказал, в частности, следующее: «В 50-е годы мы изображали себя чемпионами мира в творении зла. Затем мы стали чемпионами мира в творении добра. Как величайшие в мире пацифисты мы внушали всем, какое зло война и насколько необходимо помогать странам Третьего мира. Сегодня мы приближаемся к реалистической картине того, кто такие мы, немцы». Между тем польские издатели по-прежнему интересуются главным образом книгами, связанными со II Мировой войной. «Воспоминания горничной Гитлера, повара Гитлера, парикмахера Гитлера, — шутит агент двух десятков немецких издательств по поводу лицензий, особенно охотно покупаемых поляками. — И еще, чуть не забыла, мемуары Геббельса». Не очень довольны и сами польские издатели, для которых цена участия в ярмарке слишком высока, а сделок заключается слишком мало. В таких условиях ярмарка становится скорее книжным базаром для узкого круга читателей с фоном из знаменитостей. Она привлекает посетителей, но не издателей.

• В списке польских бестселлеров обращает на себя внимание перемещение на второе место (сразу за «Домом на клифе» Моники Шваи) книги Мартина Светлицкого «Двенадцать». Замечательный поэт, один из создателей музыкального ансамбля «Светлячки», испробовал силы в иной области массового творчества — детективной литературе. Книгу оценили как превосходно написанную: «...множество автобиографических элементов превращает ее в роман с ключом, при очень интересном изображении сферы нравов. Отличное развлечение, — пишет рецензент, — хотя я предпочитаю классиков литературного детектива». Четвертое место занимает футуристический роман «Операция «День Воскрешения»» Анджея Пилипюка, а затем идут, в частности, «Трактат о лущении фасоли» Веслава Мысливского, «Бальтазар» Славомира Мрожека и, конечно, последний роман Иоанны Хмелевской «Бледная спирохета».

• «Автобиографическим романом назвал Филип Байон свою книгу «Тень дня», — пишет Кшиштоф Маслонь. — Книга отвечает практически всем требованиям, предъявляемым к автобиографии, но все же это не автобиография. Так что же это? Портрет художника времени переломов: в сфере традиций, ментальности, эстетики, политики». Филип Байон, начинавший творческую карьеру как писатель, а сегодня более известный как кинорежиссер, этой книгой возвращается к своим литературным началам (отрывки из книги «Тень дня» опубликованы в этом номере «Новой Польши», стр. 107).

• Вышла книга Мариуша Вилька «Дом над Онежским озером», заявленная как первая часть планируемого «Северного квартета». Произведение представляет собой хронику жизни в Карелии, историю путешествия в прошлое и вглубь себя. Автор, постоянно живущий на дальнем севере России, говорит: «Когда я обещаю написать четыре книги, то обязательно добавляю: если доживу. Север — это же экстремальные условия. За Полярным кругом люди страдают от недостатка света и витаминов. Там существует такое явление, которое называют арктической истерией — с ней связаны всяческие «улёты» и галлюцинации. Ну что ж, за все надо платить». И об этом пишет Мариуш Вильк в своих книгах.

• «Толпы в выставочных залах, длинные очереди и битком набитые автобусы. Но все равно всем понравилось», — так кратко оценила пресса третью варшавскую Ночь музеев. А этой ночью действительно было на что посмотреть и что послушать: на большинстве площадок были организованы специальные программы, сопровождавшие экспозиции. С семи часов вечера и до часу ночи можно было бесплатно посетить 50 музеев и галерей, а специальный автобусный маршрут обслуживали более двадцати — теперь уже тоже «музейных» — «огурцов» (так называли старые автобусы марки «Ельч»).

• «Иконы победы» — такая выставка, посвященная Польше 1980-х, прошла в варшавском Музее промышленности. Инсталляции современные, но на выставке представлено также множество работ с чердаков и из шкафов целой плеяды художников. «Эти вещи, — говорит Клара Копчинская, соавтор идеи выставки, — 20 лет тому назад нельзя было выставлять. Позже (...) это искусство уже никого не интересовало, теперь же мы открываем его заново». А Ежи Маевский пишет: «Микрофон на трибуне в заводском цеху отвратителен, как поздний период ПНР. (...) Подходишь, шепчешь, а зал заполняется трубным голосом Эд-

варда Герека. (...) Одно говоришь, другое слышишь. (...) Герек — это 70-е годы. Но если бы не его пропаганда успеха, а затем глубокий кризис, то не было бы «Солидарности» и 80-х годов». На выставке экспонируются также другие документы эпохи, например коллекция карточек на мясо, почтовые открытки с памятниками ПНР, фотографии героев того времени.

• **Нынешний Фестиваль польской песни в Ополе не дождался положительных отзывов прессы. Поэтому, подводя итоги этого мероприятия, Роберт Санковский написал: «Честь «старого доброго Ополе» защищал воскресный вечер «Мир в облаках» (...) посвященный Мареку Грехуте, а также основанное на классических скетчах зрелище «101 год польского кабаре». (...) Спрашивается только, почему опольский фестиваль должен был обратиться к классике, чтобы на нем наконец начало происходить то, что можно оценивать как (...) музыкальное событие».**

• В этом году «Краковский кинофестиваль подтвердил свою репутацию киносмотра, глубоко погруженного в мировые проблемы, сосредоточенного на документальном киноматериале, иногда противоречивом, но не эпатирующем рискованными или жестокими сценами», — написала о Фестивале короткометражных фильмов Юстина Новицкая. А Ежи Армата дополняет ее диагноз: «На краковском фестивале наибольшей популярностью пользуются фильмы о том, что важно и универсально, а не «ньюсы» и горячие темы. Последнее следует оставить телевидению и газетам». Лауреатом «Золотого дракона», первой премии международного конкурса, стал Сергей Лозница за документальную ленту «Блокада», смонтированную из архивных материалов, снятых во время блокады Ленинграда. «Золотой Лайконик» — премия на конкурсе польских фильмов — была присуждена кинофильму «Семена», созданному Войцехом Касперским в рамках проекта «Россия — Польша. Новый взгляд». Премию за творческий вклад в развитие кинематографии, статуэтку «Дракона драконов», получил Казимеж Карабаш, выдающийся польский кинодокументалист, замечательный педагог, воспитавший многие поколения польских кинематографистов.

• **Отход от политики в кинодокументалистике можно было заметить и на организованном в третий раз в Варшаве киносмотре «Planete Doc Review». «Все четыре награжденных фильма объединяет одно, — пишет Михал Хачинский. — Все они посвящены личной истории другого человека, на первый взгляд отличающегося от нас и все же так на нас похожего (...) Цифровые камеры изменили характер документального кино, по природе своей требующего близкого контакта с героем. То, что могло создавать трудности, когда, скажем, в помещении присутствовала киногруппа, сегодня стало простым, ибо маленькие камеры хороши в самообслуживании».**

• В Варшаве на 86-м году жизни скончался футбольный тренер Казимеж Гурский, «честный, скромный, доброжелательный, любимый болельщиками. Король польского футбола». Он привел польскую команду ко многим победам, самой ценной из которых было третье место на чемпионате мира 1974 года в Германии. Возглавляемая им команда привезла также золотую медаль с Олимпийских игр в Мюнхене и серебряную — из Монреаля.

Иоанна Арашкевич

НОВОСТИ ПОЛЬСКОЙ ДИСКОГРАФИИ

Петр Рубик

«Рубикон», Sony BMG 2006

Это первый полностью авторский диск Петра Рубика — одного из самых узнаваемых польских композиторов-песенников. Кроме песен он пишет также музыку к кинофильмам («Камо грядеши», «Примас. Три года из тысячи») и театральным постановкам. Рубик — выпускник Варшавской музыкальной академии им. Фредерика Шопена по классу виолончели. Был музыкантом и концертмейстером элитарного Всемирного оркестра «Jeunesses Musicales». Посещал курсы композиции киномузыки, которые вел Эннио Морриконе. В 2005 г. написал ораторию «Tu es Petrus», посвященную Иоанну Павлу II, из которой особо запомнилась награжденная на фестивале 1-й программы Польского телевидения в Сопоте песня «Пусть говорят, что это не любовь». Рубик сотрудничал с такими исполнителями, как Ольга Шоманская, Пшемыслав Бранный, Малгожата Валевская, Дорота Марчик, Михал Байор и Катажина Гронец. Однако самая известная его песня — это «Прикосновение», один из главных хитов Эдиты Гурняк (альбом «Прикосновение», 1995). Кроме этой исполненной тонкого эротизма баллады, на диске «Рубикон» слушатель найдет также песни «Танцуя на солнце» (Титус Войнович, гобой), «Жаль наших слез» (Катажина Скшинецкая, вокал), «Для тебя» (Мариуш Мельчарек, саксофон) и «Dove vai» (Малгожата Валевская, Фиолька, Михал Байор, вокал). Альбом дает много приятных ощущений. Это своего рода обзор хорошей развлекательной музыки последних лет, во многом навеянной классикой. И хотя некоторые песни мелодически банальны, они всегда подчеркивают мастерство, вокальные и исполнительские возможности певцов и музыкантов. Самый красивый трек — это инструментальная миниатюра «Прощание», написанная для Иоанна Павла II. Со всей ответственностью рекомендую «Рубикон» любителям хорошей развлекательной музыки. Поклонники же Петра Рубика должны отнестись к этому альбому как к своего рода автопортрету композитора.

Мартин Малецкий

«Космическая одиссея», Польское радио 2006

Прекрасный дебютантский авторский альбом джазового пианиста и композитора Мартина Малецкого. Представленные исполнителями изысканные сочинения нарушают традицию распространенных в джазе простых, иногда даже примитивных форм. С другой стороны, их конструкция очень хорошо продумана. Несомненное достоинство диска — очень важный в гармонии контрабас (Павел Паньта). Есть фрагменты, где он играет в сопровождении лишь левой руки пианиста. Вообще сольных партий на диске довольно много, но их продолжительность заранее запланирована. Впрочем, есть и отрывки, возникшие в результате импровизации. В такие моменты особенно чувствуется прекрасная техника музыкантов, а также их способность реагировать на игру партнера. Создается впечатление сгущения музыки, которая несет в себе огромный интеллектуальный заряд. Важный элемент интерпретации заключается в разнообразии артикуляционных эффектов, редко встречающемся в традиционном джазовом пианистическом искусстве. Все соло (в т.ч. и ударных, на которых играет Кшиштоф Шманьда) заслуживают самой высокой оценки. Хороши и переходы от фортепьянных каденций к совместной игре с ритмической секцией. В заключение добавлю, что источником вдохновения для создателей альбома стал космос, о чем свидетельствуют названия всех треков. В «Космической одиссее», «Кассиопее» и «Звездном кружении» тема трактуется широко, а «Облако Магеллана», «Световой блюз» и «Босса Персей» отличаются классической джазовой композицией. Меня особенно очаровал «Марсианский вальс», сольная партия Мартина Малецкого, — может быть, благодаря его заряду, на этот раз не интеллектуальному, а эмоциональному. Порадовал и «Танец лун», битональный фрагмент которого явно продолжает традиции композиторского стиля Сергея Прокофьева. И все же необходимо помнить, что несмотря на созвучность другим произведениям этот альбом не признаёт игры условностей. Это своего рода интеллектуальный вызов и результат сознательной работы Мартина Малецкого.

Силезский квартет

Гжегож Цеховский, «Republique», EMI Music Poland 2005

«Republique» — это попытка соединить серьезную музыку с лучшими достижениями рока. Силезский квартет, один из лучших польских камерных ансамблей, пользующийся огромным успехом за границей, записал

сочинения Гжегожа Цеховского и его группы в новаторских аранжировках Стефана Сендецкого. Идея не нова: классический струнный квартет исполняет развлекательную музыку. Однако в данном случае взаимопроникновение этих двух, казалось бы, несовместимых миров создает новое, ранее неизвестное качество.

Гжегож Цеховский (1957-2001) был польским рок-музыкантом, поэтом, композитором и фельетонистом, а также лидером и вокалистом группы «Республика», созданной в 1980 г. в торунском студенческом клубе «Од нова». Сам Цеховский дебютировал в 1976 г. в роли флейтиста ансамбля «Jazz Formation». Он известен также как композитор киномузыки — в частности, к фильму М.Бродского «Ведьмак» (2001). Кроме того, он был продюсером альбомов таких польских исполнителей, как Кася Ковальская, Кшиштоф Антковяк, Юстина Стечковская или Катажина Гронец.

Среди вошедших в альбом композиций есть такие хиты, как «Телефоны», «Комбинат», «Не спрашивай о Польше» или «Говорящие головы». Мировые эксперты отметили высочайший аудиофильский уровень записи. Автором проекта был звукорежиссер Анджей Липинский. Исполнение отличается точностью и профессионализмом, однако даже самые экспериментальные аранжировки не заменят оригинальных песен Гжегожа Цеховского. Альбом стал данью памяти музыканта и — несмотря ни на что — свидетельством веры в его индивидуализм, ибо, вопреки мнению критиков, индивидуализм — единственный путь к художественному бессмертию.

Патриция Косяркевич
«Поколение-72», EMI Music Poland 2005

После семи лет молчания Патриция Косяркевич показала свое новое лицо. На диске мы найдем 11 треков, разительно отличающихся от прежних записей исполнительницы, в число которых входят такие альбомы, как «Сказочки» и «Кто же я». Голос Патриции созрел, теперь у нее более широкий диапазон и глубокий тембр. Благодаря любопытным исполнительским решениям вокальная манера певицы уже не раздражает. Альбом полон теплых и тонких текстов о жизни, одиночестве, потерянности и трудных решениях. В его записи приняли участие такие знаменитости, как гитарист Марек Напюрковский, ударник Михал Домбрувка, басист Петр Жачек, трубач Роберт Маевский и саксофонист Генрик Миськевич. Хит альбома, трек «Ничего даром», долго оставался на верхних строчках хит-парадов. В нем явно ощущается влияние этнической (интересно звучащий бэк-вокал), клубной и электронной музыки, а также rythm&blues. В целом Патриция продемонстрировала очень изысканный поп, далекий от того, который мы обычно слышим по радио. Со всей ответственностью рекомендую этот альбом любителям широко понимаемого «жанрового разнообразия». Кроме очень ритмичных песен там встречаются и прекрасные баллады («Поколение-72» и «Гуляем»).

Кася Цереквицкая
«Феникс», Sony BMG 2006

В Польше наверняка найдутся люди, помнящие, как молоденькая 17-летняя Кася выступала в программе Эльжбеты Скрентковской «Шанс на успех», которую уже много лет подряд ведет известный сатирик Войцех Манн. Тогда она лихо исполнила известную песню «королевы польского джаза» Эвы Бем «Ушла замуж, скоро вернусь». Победа позволила ей выступить в Зале конгрессов варшавского Дворца культуры и науки, а также принять участие в концерте дебютантов на фестивале «Ополе-97». В марте 1999 г. она записала свой первый альбом «Мозаика», который, к сожалению, не был по достоинству оценен слушателями несмотря на характерный теплый голос Каси, называемый «черным» вокалом, и участием таких звезд, как Яцек Цыган или Мариуш «Фази» Мельчарек. Нынешний альбом Каси, записанный после перерыва в несколько лет, приятно удивляет продуманной формой песен, разнообразием текстов самой вокалистки (не только о несчастной любви!) и хитом «На колени», занявшим второе место на польском отборочном конкурсе «Евровидения». Музыку ко всем песням написал Петр Сейка. Альбом явно создан под влиянием ритмов соул и R&B, а особенно творчества Стиви Уандера, Алисии Киз и Мэри Джей Блайдж.

Трио Влодека Павлика
«Ангелли», 5line 2006

«Павлик — это Владимир Горовиц джаза, самостоятельное явление. Каждый должен его послушать», — писала заграничная пресса о польском музыканте после концерта на North Sea Jazz Festival в Гааге, одном из самых престижных в мире фестивалей.

Альбом «Ангелли» отсылает к одноименной поэме Юлиуша Словацкого, к которой Павлик впервые обратился в 1981 г., вскоре после покушения на Папу Иоанна Павла II. Тогда он написал музыку, в сопровождении которой поэму читал актер Тадеуш Худецкий. Однако после нескольких спектаклей в Польше было введено

военное положение, и выступления пришлось прекратить. К этому тексту Павлик вернулся лишь в 2003-2005 гг., создав цикл произведений для джазового трио. Впервые они были исполнены в 2005 г. на Варшавском джазовом фестивале JVC. Трио, в состав которого входили Влодек Павлик (фортепьяно), Павел Паньта (контрабас) и Цезарий Конрад (ударные), было награждено овациями и превосходными рецензиями. Музыканты варьировали экспрессию — от агрессивного бешеного фортиссимо (композиция «Ангелли») до полного успокоения («Элленаи», «Ближе»). На диске записано десять треков, из которых самое большое впечатление производит «Transylvanian Dance» — пожалуй, наиболее эффектное произведение, в котором трио демонстрирует свое виртуозное мастерство. В целом альбом покоряет своей впечатляющей трактовкой романтизма, отсылая слушателя к той эпохе. Просто «слышно, как искрится снег».

Кристиан Цимерман

Брамс. 1-й концерт для фортепьяно с оркестром, Universal Music Polska 2006

После прошлогоднего успеха, каким стала запись 1-го и 2-го фортепьянных концертов Рахманинова, один из величайших современных польских пианистов обратился к концерту Брамса. С самого начала карьеры Цимермана этот композитор был ему очень близок — быть может, из-за своего музыкального педантизма и перфекционизма. Вначале Брамс написал сонату для двух фортепьяно, которая затем превратилась в симфонию и, наконец, в фортепьянный концерт. Как в любом исполнении Цимермана, в этой записи чувствуется повышенное внимание к каждому нюансу. Каждый аккорд продуман и «отточен», как будто любой отдельный звук представляет собой обширную форму, требующую огромного мастерства. В целом исполнение изысканно, величественно, пропорционально и эстетично — без пафоса и излишних чувств. Это уже вторая запись 1-го фортепьянного концерта — пианист исполняет его в сопровождении Берлинского филармонического оркестра под управлением Саймона Раттла. Первая запись была сделана в 80-е годы совместно с Бернстайном и Венским оркестром, однако в настоящее время она не соответствует художественным требованиям Цимермана. Следует добавить, что пианисту свойственно прослушивать несколько десятков различных записей, прежде чем он приступит к очередному исполнению. Из-за этого некоторые обвиняют его в отсутствии непосредственности и творческого воображения.

Петр Андершевский

Моцарт. 17-й и 20-й фортепьянные концерты, EMI Music Poland

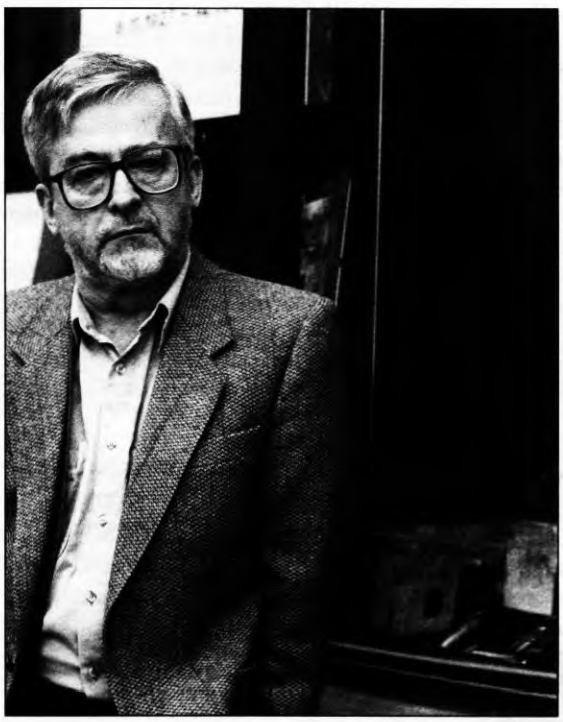
В свою очередь Петра Андершевского в отсутствии творческого воображения никак не упрекнешь. В настоящее время, наряду с Цимерманом, это самый известный польский пианист. Записанные в Эдинбурге два концерта Моцарта стали прекрасной данью памяти великому композитору в 250-ю годовщину рождения. Андершевский исполнил их в сопровождении Шотландского камерного оркестра под управлением самого пианиста.

С 1990 г. Андершевский живет за границей, главным образом в Париже. В отличие от Цимермана он не обратил на себя внимания на Шопеновском конкурсе, зато восхитил слушателей исполнением необыкновенно сложного цикла Бетховена «33 вариации на тему вальса Диабелли».

Андершевский не любит студийных записей, идеал для него — запись во время концерта. Он обожает риск, поэтому его исполнение всегда динамично и экспрессивно. Он избегает ненужного, по его мнению, обращения к записям других пианистов, предпочитая самостоятельно создавать новое произведение без налета другого стиля или манеры. Помимо технической виртуозности, в его исполнении концертов Моцарта множество эмоций. Его игра — результат вдохновения, а не рассудочности и математической умеренности, как у Цимермана.

ПРОБИТЬСЯ К ПРАВДЕ — ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ РЕАЛИЗМА

Беседа с режиссером Ежи Яроцким



Ежи Яроцкий *— режиссер, педагог, переводчик, считающийся самым выдающимся постановщиком драматургии Виткация (Станислава Игнация Виткевича) и Витольда Гомбровича. Многие польские драматурги вверяли Яроцкому первое исполнение своих произведений, в т.ч. Тадеуш Ружевич и Славомир Мрожек. В 1960 г. он первым показал на польской сцене «Венчание» Гомбровича, в 1964-м — «Мать» Виткация. Одним из первых среди польских режиссеров заинтересовался американской и западноевропейской драматургией, поставив пьесы Осборна, О'Нила, Т.Уильямса, А.Миллера, Элиота, Ионеско, Клейста. В 1962-1998 гг. постоянно работал в краковском Старом театре, формируя его репертуар. Ставил также спектакли в варшавском Драматическом театре (1972-1982), во вроцлавских Современном и Польском театрах. С 1970-х ставил спектакли в западноевропейских театрах. С 1991-го — ординарный профессор театрального искусства, с 1994-го — действительный член Польской Академии знаний. Почетный доктор Ягеллонского университета (2000). Лауреат многих видных премий, в т.ч. трижды лауреат премии в области культуры подпольной «Солидарности» (1982, 1984, 1988). В текущем, 2006 году стал лауреатом Большой премии Фонда польской культуры за постановку «Космоса» Гомбровича в варшавском Национальном театре.*

— Когда вы ехали учиться в Москву, вы уже окончили актерский факультет краковского театрального училища. Получили ли вы удовлетворение от встречи польского опыта с тем, чему вас учили в ГИТИСе, — или же испытали разочарование?

— Мой художественный вкус тогда еще не установился, однако некоторые склонности уже были. И этим я обязан краковскому училищу — скрещением авангардистских вкусов с более близкими к классике. В краковское Государственное высшее театральное училище я поступил в 1948 году. Педагоги были разные, они делились на принадлежавших к старой, традиционной школе и авангардистов. Среди последних особенно выделялся Возник, зачарованный довоенным поэтическим авангардом: Пшибосем, Пейпером, Ясенским. Он, собственно, и обучал поэзии, а его ассистентом был Густав Холоубек, с которым мы дружим до сих пор. Того, чему я от них научился, русская школа подорвать не могла. Благодаря им я узнал и Виткация.

Поэтому, отправляясь в Москву, я уже имел какое-то понятие о польском авангарде, обладал определенным антидогматизмом. Еще до отъезда в знаменитом краковском букинистическом ма-

газине на улице св. Яна [Иоанна Богослова] я нашел брошюру по-русски, посвященную одному спектаклю Мейерхольда, — три рецензии на «Ревизора». Это чтение меня заинтересовало и заставило интенсивно заняться русским языком. Мейерхольд произвел на меня куда большее впечатление, чем Станиславский, которого в Польше вводили довольно бездарно. Только в ГИТИСе я смог использовать его настоящие достижения. Впрочем, в Москве все мое краковское актерство оказалось под вопросом — это был холодный душ.

— Почему это случилось, если в Кракове вы были связаны с такими крупными личностями и таким литературным материалом?

— Виткация мы тогда только читали и анализировали (его «Каракатицу» поставил только в 1956 г. Тадеуш Кантор, а я поставил «Мать» в краковском Старом театре в 1964-м). Русской школы чтения стихов я так никогда и не воспринял: она была для меня слишком «напевной», и образцы Возника и Холоубека остаются действительными для меня и сегодня! Но там, в ГИТИСе, с меня сдирали ложный экспрессионизм в актерской игре и успешно показывали, как можно по-настоящему «быть» и «действовать» на сцене. Это было вступлением в другую реку.

— В 1952 г., когда вы приехали в Москву, наследие Станиславского играло главную роль в программе режиссерского факультета?

— Дело обстояло несколько сложнее. Хотя «система Станиславского» была обязательным методом обучения, у разных его «учеников» она проявлялась по-разному.

Мой учитель Николай Михайлович Горчаков работал со Станиславским в последний период его жизни, до самой его смерти. Горчаков был его ассистентом, младшим другом; обычно он провожал Станиславского домой после репетиций во МХАТе. На мой взгляд, Горчаков преподавал достоверно, хотя, комментируя Станиславского, делал его ярче или, лучше сказать, воздвигал на пьедестал. Не знаю, можно ли назвать мое знакомство с Горчаковым дружбой. Со всего курса он только меня приглашал в гости, но, пожалуй, не из одной любви, а еще и из страха: он не хотел, чтобы я задавал ему при всех на занятиях вопросы о русском авангарде, что я пытался делать. Он не мог понять, как это я приехал сюда, даже не зная, что Мейерхольд был расстрелян, не представляя себе, какие сложные, трагические и мрачные времена пережило советское искусство, в том числе и театр.

После нескольких «частных» разговоров Горчаков счел, что я должен повысить уровень образования — вне рамок официальной гитисовской программы — и дал мне рекомендательную записку к своей старой приятельнице — библиотекарше в Ленинке. Эта симпатичная пожилая дама давала мне запрещенные в то время книги и журналы, даже газеты 20-30-х годов, благодаря которым я с пылом погружался в те события, и не только театральные, касавшиеся не только Мейерхольда, Таирова, Михаила Чехова, но и чисток и ликвидации «врагов народа». Этим я обязан его отважному поступку, хотя вообще-то он все-таки был запуганным, скрытным и довольно недоверчивым.

Занимался я и с другими выдающимися артистами. Актерскому мастерству (обязательный предмет) меня учил Андрей Александрович Гончаров. Можно было факультативно посещать занятия Марии Осиповны Кнебель, Николая Охлопкова, Михаила Кедрова, ходить на спектакли московских театров, где играло бесчисленное множество великих актеров. А у крупнейших мастеров «система» давала действительно невероятные результаты. Впрочем, по моим наблюдениям, они черпали из многих источников и проходили в своей театральной жизни через много разных школ. Не говоря уже об их личной жизни и прокатывавшейся по ним истории.

— Вы приехали в СССР в исключительно трудное время...

— Да. Сталинская мания преследования привела к охоте на евреев. Это чувствовалось везде — на улице, в трамвае, где нищие-инвалиды пели антисемитские частушки. Потом гигантские, истерические похороны Сталина, где многие люди погибли в жуткой толкучке — и под настоящий вопль отчаянья! Вместе с моими однокурсниками я простоял целую ночь в очереди на 30-градусном морозе, но до Колонного зала так и не дошел.

— У вас были русские друзья?

— Конечно. Я полюбил русских, открыто разговаривал с ними на многие темы. Но были и такие области, где я чувствовал себя чужим. Однако, будучи поляком, я кое на что смотрел со стороны. Они любили свою страну, рассказывали об Отечественной войне как важнейшем событии XX века. Для них война началась в июне 1941 года — для

меня в сентябре 1939-го и одним из агрессоров был Советский Союз. С этим было связано самоубийство Виткация.

Я читал книгу о работе Немировича-Данченко над «Тремя сестрами» во МХАТе. Они восстанавливали постановку Станиславского, работая над этим как раз тогда, когда их войска входили в Польшу. Я не мог надивиться: ни одного слова на эту тему. А между тем в запись репетиций входило немало фактов и наблюдений из жизни за стенами театра!

Борис С., мой друг и сокурсник, актер несколькими годами старше меня, прошел всю войну на фронте. После доклада Хрущева [на XX съезде КПСС] он выл нечеловеческим голосом: не мог поверить, называл Хрущева предателем. Мне приходилось быть очень осторожным, чтобы не оскорбить его чувств, которых я не разделял.

— Оказало ли пребывание в СССР положительное влияние на вашу дальнейшую работу в театре?

— По сути дела мой тамошний опыт, весьма важный с точки зрения мастерства, высек искру только в столкновении с современной польской литературой. Вдобавок я думаю или скорее надеюсь, что актерам, с которыми я много работал, не так трудно привести себя в состояние, которое я назвал бы известной готовностью к игре. А вот то, что я нашел для себя как режиссера, уходит корнями в несколько разных традиций, не только русских.

— Согласны ли вы с мнением Войцеха Скальмовского о том, что на все творчество Виткация огромное влияние оказали философские труды, которые он читал, находясь в России?

— Надо согласиться, хотя доказательств этому и нет. Есть только косвенные. Он был там четыре года, с 1914-го по 1918-й, и у него было много свободного времени, особенно после того, как в середине 1916 г. он был ранен и отправлен в госпиталь. Считалось, что он там лежит, а на самом деле он все время брал увольнительные и ездил то в Киев, где виделся с Ярославом Ивашкевичем, то в Москву. Там Виткаций нагляделся на французскую живопись из собрания Морозова. Одних картин Пикассо в нем было около сорока. Он знал, с чем имеет дело, так как раньше побывал в Мюнхене и Париже. В России он начал писать свое центральное философское сочинение, которое увидело свет только в 30-е годы. Правда, в этом сочинении мы слышим отклик на западных, а не на русских философов.

— Однако не забудем, что в то время, когда Виткаций был в России, она была под огромным влиянием немецкой философии. Русские первыми переводили немецких философов вскоре после появления их трудов в оригинале.

— Это верно. В ГИТИСе мне пришлось много заниматься Гегелем.

— А из русских писателей для вас, вероятно, важнее всех Чехов?

— Не только для меня. Во всем мире его ценят выше всех русских драматургов.

— Потому что он самый открытый, самый универсальный...

— И в то же время, обратите внимание, считалось, что это самая суть русской души. С другой стороны, его можно признать родоначальником нескольких литературных течений в Европе. Он безумно современен в том, как идет к человеку — разорванному, несостоявшемуся. Его герои говорят о будущем: «...через сто, через триста лет...», — и это тогда относили к социальному порядку. Но его произведения возносятся и над русской душой, и над социологией.

— Потому что Чехов, говоря о России, смотрит со стороны, чего нельзя сказать ни о Достоевском, ни о Толстом. Есть известные его слова о том, как он по капле выжимал из себя раба. Я бы осмелилась утверждать, что он выжимал из себя русского.

— Ну, это наше польское восприятие. Можно также отважиться сказать, что на протяжении некоторого времени, когда польские театральные деятели оказались впереди русских, так как могли ездить на Запад, польский театр стал своего рода помостом пропаганды русской литературы в мире. Можно рискнуть, выдвигая еще один тезис — о том, что тогда возникло нечто вроде польской школы истолкования русской литературы. Когда я смотрел спектакли Эрвина Аксера: «Дядю Ваню» в Мюнхене, «Три сестры» в Дюссельдорфе, — то это был не тот Чехов, которого можно было видеть в России или Германии. В нем было нечто славянское, но с уклоном в польское. Весь Достоевский Анджея Вайды — это польское истолкование. Вайда не заражен Россией, поэтому Достоевского он понимал по-своему. В эти польские ис-

толкования я включил бы и «Клопа» Маяковского — спектакль Конрада Свинарского в берлинском Шиллеровском театре.

Мои постановки Чехова, первой из которых был «Дядя Ваня» в 1958 г., потом я ставил «Вишневый сад» в Старом театре, «Три сестры» в Цюрихе, — они тоже как-то выделяются. Польским искривлением. Из двух моих вроцлавских «Платоновых» тот, что назывался «Выпущенный акт», доехал до петербургского фестиваля «Балтийский дом» и, пожалуй, оказался там спорным. Да и «Ревизор», которого я ставил в Вуппертале, явно отличался от почти одновременной русской постановки в Кельне.

— Поставленный вами с большим успехом в Старом театре «Закат» Бабеля (1966) был европейской премьерой этой драмы. Позже вы ставили ее в других странах. В Белграде спектакль шел долго и успешно, получил премию на Белградском международном театральном фестивале.

— Да, но высшую похвалу я получил от Георгия Александровича Товстоногова, который включил этот спектакль в число нескольких важнейших в его жизни.

Позже я поставил его в Цюрихе, но там его уже принимали не с таким восторгом.

Тут я должен отметить, что огромная доля в успехе польской премьеры «Заката» принадлежит Ежи Помяновскому, автору конгениального перевода пьесы Бабеля.

«Самоубийца» Николая Эрдмана во вроцлавском Современном («Вспулчесном») театре и особенно краковский вариант этой постановки, дипломная работа 4 курса театрального училища, получившая премию на фестивале «Истрополитана-88», — это тоже был опыт переистолкования русской пьесы.

— Из польских драматургов важнее всех для вас четверо: Виткаций, Гомбрович, Ружевич и Мрожек. Вы показывали спектакли по ним в России?

— К сожалению, редко, раз в несколько лет. Не получалось у меня и с постановками в самой России — точнее в Советском Союзе, — несмотря на то, что много раз меня приглашали.

— Почему?

— В 60-е годы Олег Ефремов увидел у меня «Танго» Мрожека и предложил поставить эту пьесу в «Современнике», директором которого он тогда был. Я как раз должен был начать репетиции, когда войска Варшавского договора вступили в Чехословакию и Мрожек напечатал в «Монде» свое знаменитое письмо протеста. Постановка, естественно, отпала.

Другой раз, тоже по приглашению О.Ефремова, я собирался поставить (в рамках Фестиваля польского искусства) «Мою доченьку» Тадеуша Ружевича. Советское министерство культуры отказалось от этого, предложив взамен «Первый день свободы» Леона Кручковского, — тут уж я отказался. Но «Мою доченьку» я в конце концов привез в 1970 году. Мрожека — правда, не «Танго», а «Портрет» — я показал в Москве в 1989 г., то есть через 21 год. «Венчание» Гомбровича я показал в Москве в 1994 г. — тоже благодаря Ефремову, который тогда был директором МХАТа.

Я еще имел счастье показать московской и ленинградской публике своего «Короля Лира» в 1978 г., а московской и уже санкт-петербургской — спектакль «Платонов. Пропущенный акт» в 1997-м. Чуть не забыл, что «Бал манекенов» Бруно Ясенского, который я поставил в Челябинске, был показан на гастролях в Москве в 1977 году.

Из моих любимых авторов мне не удалось показать в России только Виткация.

— У каждого из этих четырех драматургов на первом плане — гротеск и трагизм, проблема личности и ее запутанности в истории, а также проблема интеллигента. Обращаются ли ваши спектакли в первую очередь к интеллигенции или вы стремитесь дойти до более широкой публики?

— Спектакли всегда обращены к публике отзывчивой, мыслящей, ищущей в театре также интеллектуальных познаний. Но как некогда, так и ныне я не могу пожаловаться на нехватку публики. «Танго» Мрожека прошло в Кракове почти 200 раз. Сегодня в Варшаве на «Космос» по Гомбровичу — постоянный аншлаг, а «Блуждание» в октябре вступит в свой третий сезон. Эти, по вашим словам, трудные авторы как-то управляются с публикой.

— Общепринято считать, что польские драматурги, именно в связи с их запутанностью в истории, пользуются герметическим языком. А тогда вопрос: хорошо ли их понимают за границей?

— Есть известные барьеры, особенно когда эта литература обращается к польскому романтизму истории, иногда прямо ссылаясь на что-то слишком локальное, как это бывает у Виткация или Мрожека. Иногда она вдохновляется мотивами зарубежной литературы или философии, как Гомбрович; иногда кажется, что мы попали в сеть постмодернизма, но, на мой взгляд, все это сегодня не такой уж «герметический» язык — наоборот, это становится прямо-таки достоинством драматурга.

Это наверняка не натуралистический язык, но определение «герметический» вызывает у меня возражения. Реализм этих писателей состоит не в буквальности описания, а в правде, к которой они пробиваются через остроту своей формы. Пробиться к правде — высшая категория реализма. Ее стоит искать, даже если единственным ответом окажется разочарование.

— Вы поставили два спектакля, в которых соединились литература и жизнь, так как и «Раскапыванье» (о Виткации) и «Блуждание» (о Гомбровиче) — это не только образ художника через его творчество, но и образ творца-человека через его жизнь. Не пытались ли вы тем самым доказать, что творчество не существует без автора?

— Оба эти спектакля я поставил уже тогда, когда мне казалось, что я исчерпал свои возможности истолкования самих произведений. Это планировалось как своего рода прощание.

— Прощание? Вы же теперь поставили в Варшаве «Космос» Гомбровича!

— Да, я непоследователен. «Раскапыванье» должно было показать Виткация как «фигуру» художника, поляка, философа, человека XX века в тесном сплетении жизни, творчества и смерти. И вдруг, неизвестно почему, по просьбе художественного совета Старого театра я вместе с Ежи Коварским придумал и поставил еще один вариант «Сапожников» под названием «Действие третье».

А после постановки «Блуждания» в Национальном («Народовом») театре в 2004 г. я понял, что настоящим дополнением прощания с Гомбровичем станет театрализация его последнего романа, где доведена до абсурда навязчивая человеческая тяга упорядочить и наделить смыслом мир, то есть Космос.

— И «Блуждание», и «Космос» идут с аншлагом. Какова причина этого? Мода на Гомбровича — или, может быть, вот эта навязчивая тяга к упорядочиванию?

— И вы тоже хотите это упорядочить? Я на такое не способен. Критики пишут, что мода на Гомбровича давно уже кончилась, что «Космос» — роман так себе, а люди всё идут в театр. Действительно, трудно обнаружить в этом какой-то смысл...

Вела беседу ***Сильвия Фролов***

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

К 100-й годовщине со дня рождения Ежи Гедройца
Р. Капустинский: Об иных
К. Маслонь о польской прозе
О. Закиров: из воспоминаний
А. Новак о «Великом Новгороде» Стефана Братковского
М. Выка о Станиславе Бжозовском
Г. Хлыстовский: действительно ли мы не издаем русских писателей?
Р. Пшибыльский об Иосифе Бродском и Анне Ахматовой
Б. Поцей о Ванде Ландовской
К. Яновская и П. Мухарский: Беседы к началу столетия
Наши за границей: А. Северин, В. Пшоняк, З. Рыбчинский, А. Холланд, Р. Полянский, А. Кшивицкий и др.
Беседы Сильвии Фролов с В. Зинем, Л. Турским

СТИХОТВОРЕНИЯ

Милоша, Стахуры, Гроховяка, Бялошевского, Хартвиг, Яструна, Херберта и др.,

в переводах

Бродского, Базилевского, Астафьевой, Ройтмана, Британишского, Горбаневской, Свяцкого и др.

Журнал «Новая Польша»
допущен к распространению на территории Российской Федерации
Решением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(Свидетельство регистрации средства массовой информации **ПИ №77-1063** от 3 ноября 1999 года)

ЛУЧШИЕ ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ
Национальная Библиотека представляет журналы:

twórczość

Старейший польский литературный ежемесячник, посвященный современной прозе, поэзии и литературной критике.
Оказывает влияние на перемены в польской литературе.
тел.: +48 (22) 627-15-52; тел./факс: +48 (22) 628-95-07
e-mail: tworczosc@bn.org.pl

Dialog

Ежемесячный журнал, посвященный современной театральной, телевизионной и радиодраматургии.
тел.: +48 (22) 608-28-80; +48 (22) 608-28-81; тел./факс: +48 (22) 608-28-82
e-mail: dialog@bn.org.pl
www.dialog.waw.pl

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесячник. На протяжении более полувека незаменимый источник информации о книгах. В каждом номере рецензии, интервью, статьи о писателях, публицистика, библиография, анонсы.
тел.: +48 (22) 826-62-60; тел./факс: +48 (22) 826-62-35
e-mail: noweksiazki@wp.pl

DWUTYGODNIK **ruch muzyczny**

Старейший и единственный в Польше журнал, посвященный музыкальной жизни, творчеству и вопросам музыки. Выходит 26 раз в году.
тел.: +48 (22) 608-28-70; +48 (22) 608-28-71; тел./факс: +48 (22) 608-28-72
e-mail: ruchmuzyczny@onet.pl
www.muzyka.onet.pl/klasyka

LITERATURA *na świecie*

Ежемесячник. Единственный журнал, уже многие годы публикующий все достойные внимания новинки современной мировой литературы.
тел.: +48 (22) 827-47-91; тел./факс: +48 (22) 828-64-96
e-mail: litnasw@free.art.pl

НОВАЯ ПОЛЬША

Ежемесячник. Единственный журнал о Польше на русском языке.
Богатая подборка публицистики польских и российских авторов.
Переводы малоизвестных в России произведений польских поэтов и прозаиков.
тел.: +48 (22) 608-25-65; +48 (22) 608-27-95
тел./факс: +48 (22) 608-27-96; +48 (22) 608-25-05
e-mail: nowpol@bn.org.pl
www.novpol.ru

odra miesięcznik

Ежемесячный журнал, широко представляющий современные проблемы общества и искусства. Форум критической гуманитарной мысли.
Польша и мир, история и возможное будущее.
тел.: +48 (71) 344-77-37; тел./факс: +48 (71) 343-55-16
e-mail: odra@odra.art.pl
www.odra.art.pl

a akcent literatura i sztuka ● kwartalnik

Ежеквартальный журнал, посвященный литературе и другим областям искусства в контексте последних достижений гуманитарной мысли. Выходит в Люблине с 1980 года.
тел./факс: +48 (81) 532-74-69
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl
www.akcent.glt.pl

BIBLIOTEKA NARODOWA

Biblioteka Narodowa,
Dział Wydawniczy Czasopism Patronackich
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel. (0-22) 608 24 88

Cena 12 zł w tym 0% VAT

ISSN 1508-5589
07
9 771508 558065